



Title	Одна луковка и две паутинки (Ф. Достоевский, Л. Толстой, Рюносукэ Акутагава)
Author(s)	Туниманов, Владимир А.
Citation	Acta Slavica Iaponica, 13, 184-224
Issue Date	1995
Doc URL	<a href="https://hdl.handle.net/2115/8083">https://hdl.handle.net/2115/8083</a>
Type	departmental bulletin paper
File Information	KJ00000034048.pdf



## Одна луковка и две паутинки

(Ф. Достоевский, Л. Толстой, Рюносукэ Акутагава)

Владимир А. Туниманов

Так случилось, и этому, кажется, нет аналогии в истории мировой литературы, что три великих писателя “совпали,” увлекшись одним и тем же сказочным сюжетом, который они независимо друг от друга (есть, впрочем, и другие мнения, но о них в своём месте) обработали. Сначала сделал это чрезвычайно далёкий от буддизма Ф. Достоевский. О нём, естественно, и первый этюд.

### 1. Луковка

“Луковка” — таково название третьей главы седьмой книги (“Алеша”) романа “Братья Карамазовы.” Тем самым Достоевским подчёркивается ключевое значение в главе легенды или “басенки,” рассказанной Грушенькой, к которой привёл Алешу Карамазова Ракигин, предвкушая “позор праведного,” его “падение” из “святых в грешники.” “Падения” не произошло. Напротив, грешная и inferнальная героиня подала Алеше в трудную минуту великого смущения “луковку,” рассеяла тучи, в самом зародыше потушила бунт (Алеша уже и своего вольнодумного брата Ивана стал цитировать: “Я против Бога моего не бунтуюсь, я только мира его не принимаю...”)<sup>1</sup>. Алеша благодарит Аграфену Александровну в самых прочувствованных и приподнятых выражениях:

Я шёл сюда злую душу найти — так влекло меня самого к тому, потому что я был подл и зол, а нашёл сестру искреннюю, нашёл сокровище — душу любящую... Она сейчас пощадила меня...<...> Ты мою душу сейчас восстановила (14, 318).

Аграфена Александровна отвечает ему столь же откровенными и экзальтированными признаниями в мелодраматическом духе, которые так раздражали Л. Толстого. И всю эту восторженную откровенность считает необходимым пояснить рассказчик-биограф:

У обоих как раз сошлось всё, что могло потрясти их души так, как случается это нечасто в жизни (14, 318).

Но то, что сходится нечасто в жизни, как раз норма и обыденность в произведениях Достоевского.

Алеше и, похоже, впервые<sup>2</sup> рассказывает Грушенька со вступлениями и комментариями утешительную сказку:

...это я Ракитке похвалилась, что луковку подала, а тебе не похвалюсь, я тебе с иной целью это скажу. Это только басня, но она хорошая басня, я её, ещё дитёй была, от моей Матрёны, что теперь у меня в кухарках служит, слышала. Видишь, как это: “Жила-была одна баба злющая-презлющая и померла.” И не осталось после неё ни одной добродетели. Схватили её черти и кинули в огненное озеро. А ангел-хранитель её стоит да и думает: какую бы мне такую добродетель её припомнить, чтобы Богу сказать. Вспомнил и говорит Богу:

она, говорит, в огороде луковку выдернула и нищенке подала. И отвечает ему Бог: возьми и ты, говорит, эту самую луковку, протяни её в озеро, пусть ухватится и тянется, и коли вытянешь её вон из озера, то пусть в рай идёт, а оборвётся луковка, то там и оставаться бабе, где теперь. Побежал ангел к бабе, протянул ей луковку: на, говорит, баба, схватись и тянись. И стал он её осторожно тянуть и уж всю было вытянул, да грешники прочие в озере, как увидели, что её тянут вон, и стали все за неё хвататься, чтоб и их вместе с нею вытянули. А баба-то была злющая-презлющая, и начала она их ногами брыкать: “Меня тянут, а не вас, моя луковка, а не ваша.” Только что она это выговорила, луковка-то и порвалась. И упала баба в озеро и горит по сей день. А ангел заплакал и отошёл.” Вот она эта басня, Алеша, наизусть запомнила, потому что сама я и есть эта самая баба злющая. Ракитке я похвалилась, что луковку подала, а тебе иначе скажу: всего-то я луковку какую-нибудь во всю жизнь мою и подала, всего только на мне и есть добродетели (14, 318–319). Под конец главы выясняется, что и Алеша ей подал “луковку”:

Что я тебе такого сделал? <...> луковку я тебе подал, одну самую малую луковку, только, только!... (14, 323).

Состоялся таким образом трогательно-надрывный обмен “луковками”: своего рода заключился сердечный союз. Но и этого мало. В следующей главе, одной из самых важных и символических в романе (“Кана Галилейская”), басня о луковке сливается с мистико-религиозной поэзией, врастает в евангельский текст, смело, даже дерзко обновляемый Достоевским, раздвигающим рамки евангельского рассказа о первом чуде, сотворённом Христом (“Кто любит людей, тот и радость их любит...” — вспоминает Алеша в вешем сне поучение Зосимы), переносит туда, в Кану Галилейскую лежащего в гробе старца Зосиму. Последний не только говорит, но и рукой приподнимает Алешу с колен: символический жест, который оказывается “реальностью.”

Исполнены глубокого смысла слова старца Зосимы в провидческом сне Алеши; здесь вновь звучит центральный мотив “басни”:

Веселимся <...> пьём вино новое, вино радости новой, великой; видишь, сколько гостей? Вот и жених и невеста, вот и премудрый архитриклин, вино новое пробует. Чего дивишься на меня? Я луковку подал, вот и я здесь. И многие здесь только по луковке подали, по одной только маленькой луковке... Что наши дела? И ты, тихий, и ты, кроткий мой мальчик, и ты сегодня луковку сумел подать алчущей. Начинай, милый, начинай, кроткий, дело своё!.. А видишь ли солнце наше, видишь ли ты его? <...> Не бойся его. Страшен величием перед нами, ужасен высотой своею, но милостив бесконечно, нам из любви уподобился и веселится с нами, воду в вино превращает, чтобы не пресекалась радость гостей, новых гостей ждёт, новых непрерывно зовёт и уже на веки веков (14, 327).

В главе “Кана Галилейская” мотив “луковки” достигает наивысшего напряжения, сливаясь с другими близкими по духу мотивами в великую мистико-религиозную поэму, “соавторами” которой являются рассказчик-биограф, Зосима, Алеша и Грушенька. В дальнейшем Достоевский протягивает нити от “Луковки” и “Каны Галилейской” к главе “Бред,” к другому, совсем не евангельскому “пиру на

весь мир,” где сквозь чадные и разгульные звуки прорывается чистая мелодия басни, явственно перекликающаяся с мотивами апокрифа “Хождение Богородицы по мукам” в пересказе Ивана Карамазова и проникновенной молитвой Алеши (“Кана Галилейская”). Естественно, что в пьяном “бреду” вспоминает “луковку” Грушенька, “прощающая” всех и у всех просящая прощение:

Завтра в монастырь, а сегодня попляшем. Я шалить хочу, добрые люди, ну и что ж такое, Бог простит. Кабы Богом была, всех бы людей простила: “Милые мои грешники, с этого дня прощаю всех.” А я пойду прощения просить: “Простите, добрые люди, бабу глупую, вот что.” Зверь я, вот что. А молиться хочу. Я луковку подала. Злодейке такой, как я молиться хочется! <...> Все люди на свете хороши, все до единого. Хорошо на свете. Хоть и скверные мы, а хорошо на свете. Скверные мы и хорошие, и скверные и хорошие... (14, 397).

Бесспорно, басня “Луковка” один из важнейших компонентов символично-религиозной структуры романа “Братья Карамазовы.” Рукописные редакции романа (их сохранилось значительно меньше, чем к другим большим романам Достоевского) также свидетельствуют о том, что он придавал огромное значение басне о злющей бабе и луковке. Всё, что есть в каноническом тексте романа, присутствует и в рукописных редакциях (другие мотивы там лишь пунктирно обозначены). “Луковка” подана самым крупным планом и с характерными вариациями (15, 255–257, 260–261, 265–267, 285, 290). Достоевский собирался окружить басню диалогами героев. Сохранился, в частности, фрагмент спора между Грушенькой и Ракиным. Есть там и слова Грушеньки, ещё подробнее, чем в каноническом тексте, разъясняющие смысл притчи:

Врёшь ты, знал Бог, что и за луковку за единую можно все грехи простить, так и Христос обещал, да знал наперёд, что вытянуть-то бабу эту нельзя, потому она и тут насквернит. Самая чистая это правда, вот что! (15, 265–266).<sup>3</sup>

Достоевский чрезвычайно дорожил притчей о бабе и луковке. Он — в письме от 16 сентября 1879 г. Н. А. Любимову — обращал особое внимание редакции “Русского вестника” на эту народную легенду:

Это драгоценность, записана мною со слов одной крестьянки и, уж конечно, записана в первый раз. Я по крайней мере до сих пор не слыхал (30, 126–127).

Достоевский ошибся. Он не первый записал легенду. Но, совершенно бесспорно, Достоевский первым обессмертил легенду, подняв её на головокружительную художественную высоту. Первенство принадлежит А. Н. Афанасьеву, который в “Народных русских легендах” (Лондон, 1859; М., 1859) публикует тексты легенды “Христов братец” (и её малороссийский вариант), содержащий притчу о “луковке.” Вяч. Иванов писал по поводу этого сборника:

Афанасьев не только в своих “Народных русских легендах” напечатал один из восточнославянских вариантов этой притчи. В главном теоретическом труде <...> он заметил, что это древняя дохристианская сказка. Догадка Афанасьева верна, и теперь мы знаем восточные предания, повторяющие тот же сюжет. Одно из них — буддийское — привлекло внимание американского писателя П. Каруса, чей рассказ под названием “Карма” был вновь переска-

зан Львом Толстым в последние годы его жизни, а ещё позднее ту же буддийскую легенду в рассказе “Паутинка” переложил великий японский писатель XX века Акутагава. На это тройное переплетение Достоевского, Толстого и Акутагавы обратил внимание наш покойный знаток Японии Л. А. Холодович; к этим трём именам добавим четвертое — Афанасьев. Японскому же литературоведу нашего времени Садаёси Игета принадлежит особая работа “Достоевский и Афанасьев,” где собрано несколько убедительных примеров, из которых видно, что, начиная от “Села Степанчиково” и до “Братьев Карамазовых,” у Достоевского заметны следы знакомства с научными трудами Афанасьева, иногда полемики с ним, иногда же использования народных символов, мифологическое значение которых раскрыто Афанасьевым.<sup>4</sup>

Однако добавим к сказанному, что внимание Достоевского не привлекла легенда “Христов братец.” Равно как и Льва Толстого, которого заинтересовала литературная обработка легенды в рассказе американского ориенталиста, журналиста и издателя Пола Каруса. Об этом второй этюд.

## 2. Лев Толстой и Пол Карус. “Карма.”

Как явствует из дневниковой записи от 16 ноября 1894 года Толстому хорошо работалось в середине ноября:

Всё хорошо, писалось порядочно. Только один день был слаб. За это время написал предисловие к сказочке “Карма” и послал. Думал много за это время.<sup>5</sup>

Послал Толстой как “сказочку,” так и предисловие к ней редактору журнала “Северный вестник” Л. Я. Гуревич на следующий день после дневниковой записи. Он писал:

Посылаю вам переведённую мною из американского журнала “Open Court” буддистскую сказочку под заглавием “Карма.” Сказочка эта очень понравилась мне и своей наивностью, и своей глубиной. Особенно хорошо в ней разъяснение той часто с разных сторон, особенно в последнее время, затемняемой истины, что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием; что нет и не может быть такого приспособления или учреждения, посредством которого, помимо своего личного усердия, достигалось бы своё или общее благо, когда оно благо общее. Как только разбойник, вылезавший из ада, пожелал блага себе одному, так его благо перестало быть благом, и он оборвался.

Сказочка эта как бы с новой стороны освещает две основные открытые христианством людям истины: о том, что жизнь только в отречении от личности, — кто погубит душу, тот обретёт её, и что благо людей только в их единении с Богом и через Бога между собой: Как ты, Отче, во мне и я в тебе, так и они да будут в нас едино...Иоан. XVIII, 21.

Я читал эту сказочку детям, и она понравилась им. Среди больших же после чтения её всегда возникали разговоры о самых важных вопросах жизни, и мне кажется, что это очень хорошая рекомендация (67, 269–270).

Далее Толстой, абсолютно уверенный в том, что сказочка пойдёт тут же в набор, дал ещё несколько дополнительных пояснений:

Письмо это для печати.

После заглавия “Карма” в выноску надо напечатать объяснение этого слова. Если не найдёте лучшего, то напечатайте хоть следующее:

Карма есть буддийское верование, состоящее в том, что не только склад характера каждого человека, но и вся судьба в этой жизни есть следствие его поступков в предшествующей жизни, и от тех наших усилий избежания зла и совершения добра, к<оторые> мы сделаем в этой... В энциклопедическом лексиконе можно найти лучшее и более точное определение (67, 270).

“Карма” появилась в декабрьской книжке журнала (1894. №12. стр.350–358; ценз. разр. 30 ноября). Полное заглавие: “Карма.” Буддийская сказка. Перевод с предисловием гр. Толстого.” Предисловие с небольшими изменениями воспроизводило текст письма. Не предприняла, очевидно, редакция и попыток найти в энциклопедическом лексиконе “лучшее и более точное определение” кармы, дорожа каждым словом Толстого. Только конец предложения был несколько изменён:

“Карма” есть буддийское верование, состоящее в том, что не только склад характера каждого человека, но и вся судьба в этой жизни есть следствие его поступков в предшествующей жизни и что добро или зло нашей будущей жизни точно так же будет зависеть от тех наших усилий избежать зла и совершение добра, которые мы сделали в этой. Л. Т. (31, 47).

Толстой здесь даёт упрощённое определение кармы, адресованное массовому русскому читателю, воспитанному в православной традиции и не имеющему никакого представления о буддизме. Но это отнюдь не первая попытка определить, уяснить для себя и для других суть буддийского верования. Подробнее о “карме” писал Толстой несколькими годами раньше Д. А. Хилкову (7 февраля 1892 года). Не только подробнее, но и гораздо сложнее, заодно развёртывая и свою собственную философию жизни и смерти. Разумеется, Толстой обращается не к “лексикону”; знакомит со своими личными, даже очень личными, раздумьями по поводу одного из центральных понятий буддийской религии:

Вы меня спрашиваете про буддийское понятие “карма.” Я вот что думал недавно:

Во сне мы живём точно так же, как и наяву. Паскаль говорит, кажется, так, что если мы видели себя во сне постоянно в одном и том же положении, а наяву в различных, то мы считали сон за действительность, а действительность за сон. Это не совсем справедливо. Действительность отличается от сна тем, что она, главное, действительнее, реальнее. Так что я бы сказал так:

Если бы мы не знали жизни более действительной, чем сон, то мы сон считали бы вполне жизнью и никогда не усомнились бы в том, что это не настоящая жизнь. Теперь наша вся жизнь от рождения до смерти с своими снами не есть ли в свою очередь сон, который мы принимаем за действительную жизнь и в действительности которой мы не сомневаемся только потому, что мы не знаем другой более действительной жизни? Я не только думаю, но убеждён, что это так.

Как сны в этой жизни суть состояния, во время которых мы живём впечатлениями, чувствами, мыслями предшествовавшей жизни и набираемся сил для последующей жизни, так точно теперешняя вся наша жизнь есть состояние, во время которого мы живём “кармой” предшествующей, более действительной жизни и во время которого набираемся сил, вырабатываем карму для последующей, той более действительной жизни, из которой мы вышли.

Как снов мы переживаем тысячи в этой нашей жизни, так и эта наша жизнь есть одна из тысяч таких жизней, в которые мы вступаем из той более действительной, реальной, настоящей жизни, из которой мы выходим, вступая в эту жизнь, и возвращаемся умирая. Наша жизнь есть один из снов той, более настоящей жизни. Но и та, более настоящая жизнь, есть только один из снов другой, ещё более настоящей жизни и т.д. до бесконечности, до одной последней настоящей жизни — жизни Бога.

Рождение и представление первых представлений о мире, это засыпание и самый сладкий сон, смерть — это пробуждение.

Ранняя смерть — это человека разбудили, но он не выспался; старческая смерть, это — выспался и уж спал слабо и сам проснулся. Самоубийство — это кошмар, к<оторый> разрушает<ся> тем, что вспомнилось, что ты спишь, делаешь усилие и просыпаешься.

Человек, живущий одной этой жизнью, не предчувствующий другой — это крепкий сон; самый крепкий сон без сновидений — это полуживотное состояние. Чувствовать во сне то, что происходит вокруг тебя, спать чутко, быть готовым всякую минуту проснуться — это сознавать, хоть смутно, ту другую жизнь, из к<оторой> вышел и в к<оторую> идёшь.

Во сне человек всегда эгоист и живёт один, без участия других, без связи с ними. В той жизни, которую мы называем действительностью, уже есть что-то похожее на любовь к ближнему. В той же, из которой мы вышли и куда идём, эта связь ещё теснее, любовь уже не только нечто желаемое, но действительное. В той, для которой и та жизнь — сон, связь и любовь ещё большие. И мы в этом сне уже чувствуем всё то, что там может быть и будет. Основа всего уже есть в нас и проникает все сны.

Желал бы, чтобы вы поняли меня. Я не то, что забавляюсь, придумываю. Я верю в это, вижу, несомненно знаю это, и, умирая, буду радоваться, что просыпаюсь к тому более реальному любовному миру (66, 155-156).

Очень интересное и очень толстовское определение “кармы,” но которое было невозможно в предисловии к переводу “наивной” буддийской сказочки. Предисловие выдержано в простой, ясной и “педагогической,” просветительной манере. Естественно и определение кармы дано в самой доступной и понятной для простонародного русского читателя форме. Переводя рассказ, Толстой тактично (можно сказать, профессионально) заменяет индийские и английские слова (буддийские понятия и другое) русскими синонимами-эквивалентами: *Vârânasi* — Бенарес; *Sharamana* — монах; *Vihâra* — монастырь; *several Kalpas* — много лет; *invisible devas* — невидимые духи; *holy sir* — святой отец; *the people of the town* — народ; *robber-chief* — атаман разбойников; *an allcomprehensive kindness* — всеобъемлющая

любовь; the illusion of self — заблуждение личности; the truth of your maxims — истина всех правил; at that memorable moment — в это достопамятное время; jumped aside — шарахнулась в сторону. Вообще везде чувствуется опытность, высокий профессионализм переводчика, литератора, проповедника. Поэтому, кстати, бережно сохраняется “чужеземный” колорит: покрывало Майи, Будда, карма, Шивара, брама и брамин, Индра, Кришна, Сакия Муни и др.

Почти ничего не добавляя от себя в текст Каруса, Толстой осторожно, деликатно, но повсеместно его сокращает и упрощает. Вот несколько характерных иллюстраций (курсивом выделяются сокращённые или сильно изменённые Толстым места).

### 1. Диалог монаха и Девалы-земледельца

And the shramana said: “My dear friend, you do not suffer an injustice, but only receive in your present state of existence the same treatment which you visited upon the jeweller in a former life, and if I am not mistaken in **reading the thoughts of your mind**, I should say that you would, even to-day, have done the same unto the jeweller if he had been in your place, and if you had such a strong slave **at your command as he has, able to deal with you at his pleasure.**”

The farmer confessed that if he had the power, he would have felt little compunction in treating another man who had happened to impede his way as he had been treated by the Brahman, **but thinking of the retribution attendant upon unkind deeds, he resolved to be more considerable in the future with his fellow-beings** (4218).

Монах сказал:

–Любезный друг, вы не потерпели несправедливости, но только потерпели в теперешнем существовании то, что вы совершили над этим брамином в прежней жизни. И я не ошибусь, сказавши, что даже и теперь вы бы сделали над брамином то же самое, что он сделал с вами, если бы были на его месте и имели такого же сильного слугу.

Земледелец признался, что если бы он имел власть, то не раскаялся бы, поступив с другим человеком, загородившим ему дорогу, так же, как брамин поступил с ним (31, 49)

2. Объяснение монаха Панде. Текст и здесь тонко сокращается и упрощается (в частности, устраняется латынь). Несколькоими точными мазками и небольшими синтаксическими изменениями достигается преследуемая цель — подчёркиваются, рельефно выделяются особенно важные, с точки зрения Толстого — моралиста и учителя, мысли. Те мысли, которые он неутомимо внушал читателям в своих “непереводных,” в полном смысле оригинальных сочинениях.

The shramana said: “Listen then, I will give you the key to the mystery. If you do not understand it, have faith in what I

И монах сказал:

–Слушайте, я дам вам ключ к тайне: если вы и не поймёте её, верьте тому, что я

say. Self is an illusion, and he whose mind is bent upon following set, follow an ignis fatuus leads him into the quagmire of sin. The illusion of self is the veil of Maya that blinds your eyes and prevents you from recognizing the close relations than obtain between yourself and your fellows, and from tracing the identity of your self in the souls of their beings. **Ignorance is the source of sin.** There are few who know the truth. Let **this motto** be your talisman:

He who hurts others **injures himself.**

He who helps others **advances** his own interests.

**Let the delusion of self disappear from your mind.** And you will **naturally** walk in the path of truth.

To him whose vision is dimmed by the veil of Mâyâ, the **spiritual** world appears to be cut up into innumerable selves.

**Thus he will be puzzled in a many ways concerning to transmigration of soul-life,** and will be incapable of understanding the import of an allcomprehensive kindness toward all living beings” (4219).

скажу вам. Считать себя отдельным существом есть обман, и тот, кто направляет свой ум на то, чтобы исполнять волю этого отдельного существа, следует за ложным светом, который приведёт его в бездну греха. То, что мы считаем себя отдельными существами, происходит оттого, что покрывало Майи ослепляет наши глаза и мешает нам видеть неразрывную связь с нашими ближними, мешает нам проследить наше единство с душами других существ. Немногие знают эту истину. Пусть следующие слова будут вашим талисманом:

Тот, кто вредит другим, делает зло себе.

Тот, кто помогает другим, делает добро себе.

Перестаньте считать себя отдельным существом — и вы вступите на путь истины.

Для того, чьё зрение омрачено покрывалом Майи, весь мир кажется разрезанным на бесчисленные личности. И такой человек не может понимать значения всеобъемлющей любви ко всему живому (31, 51).

3. Толстой сильно сокращает речь умирающего разбойника Магадута и делает её менее эмоциональной.

**“Alas! alas!” replied Mahâduta, are you not the man whom I beat but yesterday and now you come to my assistance, to assuage my pain? You bring me fresh water to quench my thirst, and try to save my life! It is useless, honorable sir,** I am a doomed man. The churls have wounded me unto death — the ungrateful cowards! They have dealt me the blows which I taught them (4220).

“—Это бесполезно, — отвечал Магадута, — я приговорён; негодяи смертельно ранили меня. Неблагодарные подлецы! Они били меня теми ударами, которым я научил их” (31, 53).

4. В легенде о великом разбойнике Кандате Толстой равно точно и художественно передаёт все оттенки текста, ничего не добавляя и почти ничего не изменяя, лишь

подчёркивая курсивом особенно важные, ударные слова (4 раза — **МОЯ, МОЯ, МНЕ, МНОЙ**). Однако он радикально сокращает объяснение “кармы,” прерывающее рассказ.

Now it the law of Karma that evil deeds lead to destruction, **for absolute evil is so bad that it cannot exist.**

**Absolute evil involves impossibility of existence. But good deeds lead to life.**

**Thus there is a final end of every deed that is done, but there is no end in the development of good deeds. The least act of goodness bears fruits containing new seeds of goodness and they continue to grow, they nourish the soul in its weary transmigrations until it reaches the final deliverance from all evil in Nirvâna.**

Закон кармы таков, что злые дела ведут к гибели (31, 55).

Чрезвычайно характерно, что Толстой сокращает именно это место, но сохраняет всецело мрачное предсказание гибели всем тем, кто творит злые дела. Тем самым он в суровом, ригористическом духе интерпретирует “закон кармы,” опуская всё, что говорится о **добрых** делах и окончательном избавлении от зла в Нирване. Отчасти устранение большого фрагмента текста возможно объясняется тем, что Толстой не пожелал прерывать историю Кандаты длинным отступлением, ограничившись краткой и предвещающей суровый финал фразой. Но только отчасти — Толстой вполне мог сделать композиционную перестановку и поместить всё рассуждение после рассказа. Тем более нельзя объяснить купюру нежеланием смущать простонародного православного читателя буддийским понятием “нирвана.” Толстой, кстати, вводит это понятие в финал рассказа, где даётся и кратчайшее определение “нирваны,” изменяя “правду” на “единение,” “праведную жизнь” на “общую жизнь,” что не искажает, но в толстовском духе интерпретирует смысл сказки. Толстой акцентирует внимание на бездне, разделяющей “моё” и “общее.” Совсем небольшая “вольность” перевода, но смысл и главный вывод становятся ощутимо другими, толстовскими:

...the thread breaks, and you fall back into your old condition of selfhood, for selfhood is damnation and truth is **bliss**. What is hell? It is nothing but egotism, and Nirvana is a Life of **righteousness** (4221).

...нить обрывается, и ты падаешь назад в прежнее состояние отдельной личности, отдельность же личности есть проклятие, а единение есть благословение. Что такое ад? Ад есть не что иное, как себялюбие, а нирвана есть жизнь общая...(31, 55).

Толстой без колебания вычёркивает всё, что мешает или мало способствует

пропаганде **его** учения, весьма своеобразно и вольно растолковывая ключевые понятия буддизма — “карму” и “нирвану.” И дело тут не в характерных особенностях Толстого-переводчика. Это почерк учителя и проповедника, целенаправленные усилия моралиста, создающего новую общую религию для всех людей. Мало утешительного и толерантного в этой угрожающей всевозможными карами и наказаниями религии, требующей от всех подавления эгоистического, личного. Необходимо всеобщее, без оглядки, неутомимое восхождение по одной тоненькой паутинке: больше всего этим дорога Толстому история разбойника Кандаты. Не менее дороги ему и поучения монаха Пантаки, ответственность за всё возлагающего на слабые плечи грешного и погрязшего в эгоистическом саду человека. Поучения Толстой переводит почти дословно, стремясь передать даже оттенки мысли:

...You yourself must make an effort. The Buddhas are only preachers.

Our Karma, — the shramana said, is not the work of Ishvara, or Brahma, or Indra, or of any one of the gods. Our Karma is the product of our own actions. My action is the womb that bears me; it is the curse of my misdeeds and the blessing of my righteousness. My action is the resource by which alone I can work out my salvation (4221).

...Человек сам должен сделать усилие; Будды только проповедники.

Наша карма, — сказал ещё монах Пантака, — не есть произведение Шивары, или Браммы, или Индры, или какого-нибудь из богов, — наша карма есть последствие наших поступков.

Моя деятельность есть утроба, которая носила меня, есть наследство, которое достаётся мне, есть проклятие моих злых дел и благословение моей праведности <на этот раз Толстой буквально переводит слово “righteousness,” — В. Т.> Моя деятельность есть единственное средство моего спасения (31, 55).

Постепенно и незаметно перевод превращается в Толстовскую притчу с поучениями, органично растающую в публицистику и художественное творчество яснополянского учителя. В “Карме” курсивом подчёркивается, ввинчивается в сознание читателя типично толстовская мысль о пагубности эгоизма, о “заблуждении личности” (“Эгоизм — сумашествие,” — записывает Толстой в дневнике, — 54, 147). История разбойника Кандаты и поучения буддийского монаха несомненно близки к мыслям уже неоднократно звучавшим в творчестве Толстого. Так, в “Холстомере” саркастически высмеиваются слова-понятия “моя земля, мой воздух, моя вода”:

Значение их такое: люди руководятся в жизни не делами, а словами. Они любят не столько возможность делать или не делать что-нибудь, сколько возможность говорить о разных предметах условленные между ними слова. Таковые слова, считающиеся очень важными между ними, суть слова: мой, моя, моё, которые они говорят про различные вещи, существа и предметы, даже про землю, про людей и про лошадей. Про одну и ту же вещь они условливаются, чтобы только один говорил — **моё**. И тот, кто про

наибольшее число вещей по этой условленной между ними игре говорит **моё**, тот считается у них счастливейшим (26, 20).

Правда в “Холстомере” несколько иной акцент. Более всего осуждается “низкий и животный людской инстинкт, называемый ими чувством или правом собственности” (26, 20). Такого “анархического” оттенка в “Карме” нет. Сказка, пожалуй, ближе к другим художественным шедеврам Толстого — к “Смерти Ивана Ильича” и “Хозяину и работнику,” где не только мощно звучит вечный толстовский мотив всепроникающей жизни лжи и фальши, но и необыкновенно значительно другое — возвращение перед смертью (преображением и вторым рождением) к первоистокам общей, неэгоистической жизни, преодоление пагубного “заблуждения личности.”

Текст “буддийской сказочки” П. Каруса, который перевёл и отчасти переделал Толстой, был напечатан в еженедельнике “The Open Court” (“Открытая трибуна”)<sup>6</sup> 13 сентября 1894 года (№368. vol.VIII): “Karma. A Tale with a moral. Editor.” (4217–4221).<sup>7</sup>

Еженедельник издавался с 1887 года. Лев Толстой, видимо, стал постоянным подписчиком и читателем “Открытой трибуны” с 1890 года. Хотя в яснополянской библиотеке журнал за этот год отсутствует, но мы располагаем двумя дневниковыми записями Толстого, говорящими о том, что еженедельник его заинтересовал. Первая запись от 8 июня 1890 года; внимание Толстого привлекли споры вокруг антиутопии Э. Беллами, — причём, ни с одной из полемизирующих сторон он не соглашается:

Полемика в Open Court по случаю книги Bellamy очень интересная. Сначала возражает Open Court тем, что борьба есть закон жизни, что представить себе жизнь без борьбы всё равно, что представить себе физический мир без закона тяготения. Очень удобно, но не может быть. Ему возражают, что в борьбе сначала одерживает верх the strongest, а потом the fittest <наиболее приспособленный>, а потом будто бы уже самый best, нравственный. Это вздор, fittest значит тот, который больше годится для общинной жизни. Община с годящимися, дисциплинированными членами будет сильнее общины с негодящимися, недисциплинированными членами — будет сильнее опять для борьбы. Но как же будет? Нужнее лучший нравственно. Лучший нравственно должен будет <быть> наисильнейшим, умнейшим и наиболее годящимся. Если так, то опять сильнее для борьбы, и нравственный получает другое значение. — Но что делать с плохими, пока они есть? С слабыми, глупыми? Очевидно их надо убивать. — Существование слабых уничтожает всё представление об этой нравственности. По старому нравственности не есть средство усиления и победы в борьбе, а напротив. И по старой нравственности слабому, больному, старому есть место, по новой нравственности места им нет. Надо уничтожить наследственность, болезни, старость. Что за нелепость! (51, 47–48).

Запись от 7 декабря 1890 года гораздо лаконичнее: “Статья Open Court.” Трудно сказать, какую именно статью читал Толстой. Ясно одно: еженедельник вошел в круг более или менее регулярного чтения Толстого.

В следующем, 1891 году “Открытая трибуна” больно задела Толстого, вызвав горестную исповедальную запись от 11 февраля:

И вчера soup de grâce — тем более, что я был не в духе (и как я рад этому!)

— в Open Court статья о Бутсе и обо мне, как об образцах фарисейства — говорить одно, а делать другое — говорить, что отдать всё нищим, а самому увеличивать имение продажей этой самой проповеди. И ссылаться на жену. Как Адам — жена дала мне и я ел. Очень больно было, и теперь больно, когда пишу. Но не следует, чтоб было больно, и могу стать в то положение, чтоб не было больно; но очень трудно. Я фарисей: но не в том, в чём они упрекают меня. Но в том, что я, думая и утверждая, что я живу перед Богом, для добра, потому что добро — добро, живу славой людской, до такой степени засорил душу славой людской, что не могу добраться до Бога. Я читаю газеты, журналы, отыскивая своё имя, я слышу разговор, жду, когда обо мне. Так засорил душу, что не могу докопаться до Бога, до жизни добра для добра. А надо. Я говорю каждый день: не хочу жить для похоти личной теперь, для славы людской здесь, а хочу жить для любви всегда и везде; а живу для похоти теперь и для славы здесь.

Буду чистить душу. Чистил и докопал до материка — чую возможность жить для добра, без славы людской. Помоги мне, Отец. Отец, помоги. Я знаю, что нет лица Отца. Но эта форма свойственна выражению страстного желания (52, 6-7).<sup>8</sup>

Другая статья в “Открытой трибуне,” напротив, всецело удовлетворила Толстого, о чём свидетельствует дневниковая запись от 7 июня:

Вчера в Open Court прочёл прекрасную статью Макса Мюллера об учении христовом сыновности Богу. Очень хорошо (52, 38).

Далее последовал перерыв. Несколько лет ни в дневниках, ни в письмах Толстого не упоминаются ни Пол Карус, ни его издания. Вплоть до ноября 1894 года, когда Толстого восхитила “Карма.”

В примечании издателя двух буддийских легенд П. Каруса “Карма” и “Нирвана”<sup>9</sup> дана сводка переводов и переизданий “Кармы”:

Soon after the appearance of **Karma** in the journal **The Open Court**, requests for translations arrived from all over the world. These were granted, with the result that by the end of nineteenth century, **Karma** had been published in three German renderings, two French, one Japanese, one Urdu, one Russian, Hungarian, Icelandic, and several Asian versions.

Самым знаменитым был из всех перечисленных, разумеется, перевод-переложение Льва Толстого, в котором имя автора, Пола Каруса не упоминалось. Читатели восприняли “Карму” как оригинальное произведение Льва Толстого, что, понятно, очень способствовало популярности легенды. Раздосадованный американский ориенталист обратился с письмом к Толстому 21 июня 1897 года. Толстой ответил Карусу через месяц, о чём говорит дневниковая пометка за 21 июля: “Написал письмо Carus, Ив<ану> Мих<айловичу>”(53, 149). Карус просил Толстого написать предисловие к немецкому переводу “Кармы” и восстановить его авторские права. Нового предисловия Толстой не написал. Карус воспроизвёл его письмо, содержащее несколько изменённый текст первого предисловия с очень любопытным дополнением — ответом Толстого на просьбы издателя “Открытой трибуны.” Вот текст Толстого (отсутствующий в юбилейном 90-томном собрании сочинений писателя) открывающий книгу “Карма. Нирвана”:

## PREFACE

This tale has greatly pleased me both by its artlessness and its profundity. The truth, much slurred in these days, that evil can be avoided and good achieved by personal effort only and that there exists no other means of attaining this end, has here been shown forth with striking clearness. The explanation is felicitous in that it proves that individual happiness is never genuine save when it is bound up with the happiness of all our fellows. From the very moment when the brigand on escaping from Hell thought only of his own happiness, his happiness ceased and he fell back again into his former doom.

This Buddhistic tale seems to shed light on a new side of the two fundamental truths revealed by Christianity: that life exists only in the renunciation of one's personality — “he that loses his life shall find it” (Matt. x. 39), and that the good of men is only in their union with God, and through God with one another — “As thou art in me and I in thee, that they also may be one in us” (John xvii. 21)

I have read this tale to children and they liked it. And amongst grown-up people its reading always gave rise to conversation about the gravest problems of life. And to my mind this is the very best recommendation...

It was only through a letter <from Paul Carus> that I learned Karma had been circulated under my name, and I deeply regret not only that such a falsehood was allowed to pass unchallenged, but also the fact that it really was a falsehood, for I should be very happy were I the author of this tale. It is one of the best products of national wisdom and ought to be bequeathed to all mankind, like the Odyssey, the History of Joseph, and Shakyamuni.

Count Leo Tolstoy

Пола Каруса, должно быть, письмо-предисловие удовлетворило. Его авторское самолюбие было уважено. И он получил право издавать буддийскую сказочку с предисловием великого Толстого, что уже было драгоценно. Видимо, Карус не увидел в создавшейся ситуации некоторого комического оттенка. Он просил восстановить авторство произведения, в котором проповедовалась необходимость искоренить заблуждение личности, эгоизм. В некотором роде Карус просил Толстого объявить всему миру, что “паутинка” его и только его. Толстой великолепно оценил и почувствовал всю щекотливость парадоксального положения. Ответил с поразительным тактом. Выразил сожаление, что распространяют ложь, приписывая сказку ему. Добавил, что был бы счастлив, если бы был автором “Кармы.” Но и авторства П. Каруса, по сути, не восстановил, подчеркнув, что эта сказка, как один из лучших продуктов народной мудрости, должна принадлежать всему человечеству, подобно тому как ему принадлежит “Одиссея,” библейская история Иосифа и предания о Сакья Муни.

В главном Толстой прав: Карусу принадлежит литературная обработка легенды, существующей в разных вариантах у многих народов. Его совершенно не волновало, кто первый сказал “а,” кому принадлежит исключительно право владения “Кармой.” Сказка, он считал, принадлежит всем людям и нациям. Авторские споры и амбиции — суета, сущие пустяки. Важно лишь то, чему учит сказка: “благо отдельного

человека тогда истинное благо, когда оно благо общее.”

\* \* \*

Толстой перевёл только одну сказку Каруса, но обращался к его журналам “The Open Court” и “Monist,” другим изданиям американского писателя неоднократно и после перевода “Кармы” и ответа обиженному автору. Даже чаще, чем раньше. Некоторые труды П. Каруса стали постоянными спутниками Толстого, необходимым “материалом” для его религиозно-этических произведений. Очень высоко оценивал Толстой популярный рассказ П. Каруса о буддийской религии. Его книга “The Gospel of Buddha” (“The Open Court” Publishing Co., Chicago. 11th edit., 1905) была в кабинете Толстого, где находились только самые нужные труды, к которым часто обращался писатель.<sup>10</sup> Толстой давал читать эту книгу своей дочери Александре Львовне, сопоставлял с другими сочинениями о буддизме. Часты упоминания книги Каруса в “Яснополянских записках” Д. П. Маковицкого.<sup>11</sup>

Пожалуй ещё больше понадобилась Толстому другая работа П. Каруса “Lao-Tse’s Tao-Teh-King.” Chinese-English, with introduction, translation and notes by Dr. P. Carus (Chicago, 1898), испещрённая многочисленными пометками Толстого. Готовя в 1903 году к изданию сборник “Мысли мудрых людей на каждый день,” Толстой включил в него 36 изречений Лао-цзы, переведённых из книги Каруса. Много раз он восторженно высказывался о ней.<sup>12</sup>

Привлекли внимание Л. Толстого и другие публикации в журналах П. Каруса,<sup>13</sup> хотя, разумеется, далеко не всё вызвало его сочувственный отклик. Последнее суждение Толстого (незадолго до смерти) остро критичное:

Л. Н. говорил про какую-то статью д-ра П. Каруса в его журнале “The Monist,” говорил, что его (Каруса) статьи всегда трудные, празднумственные, что есть некоторые вещи, которых лучше не трогать, — такой, например, вопрос, что будет после смерти.<sup>14</sup>

Совершенно очевидно, что Толстой был раздражён какими-то словами Каруса по поводу столь волновавшего его вопроса (что будет после смерти).

Но особенно возмутила Толстого статья буддийского учёного Сойен Шаку, из которой он в знаменитой статье “Одумайтесь!” сделал ряд выписок, сопроводив их саркастическим и гневным комментарием:

В статье сказано: “тройной мир принадлежит мне. Все вещи в нём мои дети... Все они только отражение моего Я. Все из одного источника... Все части моего тела. Поэтому я не могу быть покоен до тех пор, пока малейшая часть существующего не будет доведена до своего назначения...”

Таково отношение Будды к миру, и мы, его смиренные последователи, должны идти по его пути.

Почему же мы сражаемся?

Потому что мир не таков, каким должен быть, потому что есть извращённые существа, ложные мысли, дурно направленные сердца, вследствие невежественной субъективности. И потому буддисты никогда не перестанут воевать со всеми произведениями невежества, и война их продолжится до горького конца <To the bitter end>. Они не помилуют <They will show no

quarter>. Они уничтожат корни, из которых вытекают несчастья жизни.

Чтобы достигнуть этого, они не пощадят своих жизней.

Дальше идут, так же как у нас, путанные рассуждения о самоотвержении и незлобности, о переселении душ и многое другое, всё только для того, чтобы закрыть ту простую и ясную заповедь Будды о том, чтобы не убивать.

Далее говорится:

Рука, поднятая для удара, и глаз, берущий прицел, не принадлежит личности, а суть орудия, которыми пользуется Начало, стоящее выше переходящей жизни и т.д. (*The Open Court*, May 1904. *Buddhist Views of War*. The Right Rev. Soyen Shaku) (36, 142).

Приведённый фрагмент — сноска-разъяснение и дополнение к главным словам Толстого, возмущённого лицемерием духовных пастырей, равно христианских и буддийских:

Буддийский учёный, начальствующий над 800 монастырями, Сойен Шакю объясняет, что, хотя Будда и запретил убийство, он сказал, что он не будет спокоен до тех пор, пока все существа не будут соединены в бесконечном, любящем сердце, а потому, чтобы привести находящиеся в беспорядке вещи в порядок, нужно воевать и убивать людей.

И как будто никогда не существовало христианского и буддийского учения о единстве человеческого духа, о братстве людей, о любви, сострадании, о неприкосновенности жизни человеческой (36, 142).

Примечательно, что Толстой не различает здесь (да и в других произведениях) христианство и буддизм, отбирая из разных религий наиболее важные, с его точки зрения, мысли и интегрируя затем их в простое и ясное этико-религиозное учение, очищенное от “ненужных” обрядовых церемоний и всевозможных “нелепостей.” В предисловии к статье П. А. Буланже “Жизнь и учение Сиддарта Готамы, прозванного Буддой”(в форме письма “Редактору журнала ‘Жизнь для всех’ В. А. Поссе”) Толстой, со свойственной ему отчётливостью подчёркивает эту учительско-просветительскую тенденцию к слиянию всех религий в единую, общую и всем доступную:

Из познания других религий <...> люди увидят, что во всех великих религиях так же, как и в той, которую они исповедуют, есть два рода религиозных положений: одни бесконечно различные, разнообразные, смотря по времени, месту и характеру народа, в котором они появились, и другие, которые всегда во всех религиях одни и те же, и что этим, общим всем религиям, положениям не только должно, но нельзя не верить, потому что положения эти кроме того, что они одни и те же во всех религиях мира, записаны ещё и в сердце каждого человека как несомненные и радостные истины (90, 87).

Ценность для Толстого представляли именно “общие,” “несомненные и радостные истины.” С годами он явно охладевал не только к православию (обряды православия Толстой просто выщучивал), а отчасти и к христианству, всё больше и больше отдавая предпочтение буддизму и конфуцианству. Так, в статье “Патриотизм или мир?” (её осмелились напечатать только в 90-м томе собрания сочинений) Толстой писал:

Мы, благодаря своему лицемерию, до такой степени забыли Христа, вытравили

из своей жизни всё христианское, что учение Будды и Конфуция без сравнения стоят выше того зверского патриотизма, которым руководятся наши мнимохристианские народы (90, 52–53).

Статья “Патриотизм или мир?” появилась примерно через год после публикации “Кармы” в “Северном вестнике.” “Буддийская сказочка” и публицистическая статья в равной мере ориентированы на общие и вечные ценности, но статья свидетельствует о дальнейшей эволюции мировоззрения Толстого, о всё большей устремлённости его взора на Восток, где он видит не отсталый, обиженный историей “нецивилизованный” мир, а своего рода материк надежды, откуда возможно начнётся духовное обновление всего мира. Об этом Толстой часто говорил и писал, в том числе в статье “Письмо к китайцу”:

Мне думается, что назначение восточных народов Китая, Персии, Турции, Индии, России и, может быть, Японии (если она ещё не совсем увязла в сетях разврата европейской цивилизации) состоит в том, чтобы указать народам тот истинный путь к свободе, для выражения которой <...> на китайском языке нет другого слова, кроме Тао, то есть деятельности, сообразной с вечным законом жизни человеческой (36, 292).

Конечно, Толстой очень свободно трактует буддизм и христианство, с большим усердием открывая в них то, к чему он сам приблизился в непрерывном процессе египетской внутренней работы. И “Карму” он перевёл потому, что в ней ясно и образно изложены фундаментальные для всего человечества истины и нравственные правила, потому, что в “чужом” и “далёком” обнаружил “своё” и “близкое.” Любопытна одна запись, сделанная Д. Маковицким 9 августа 1906 года:

Утром и пополудни проверяли “Фальшивый купон,” соответствующий “Карме.” Александра Львовна сказала, что это её самое любимое сочинение; чтобы его докончить, надо три года работать.<sup>15</sup>

“Фальшивый купон,” действительно, во многом перекликается с “Кармой.” Толстой, можно сказать, в pendant “буддийской сказке” написал “буддийскую” повесть. Разумеется, “Фальшивый купон,” даже в незавершённом виде, — один из поздних шедевров Толстого, а “Карма” никакими особенными художественными достоинствами не блещет. Однако, без “Кармы” не было бы и “Фальшивого купона,” где так замысловато переплетены две бесконечные лестницы человеческих деяний — злых и добрых. И уж, конечно, свободный перевод-пересказ не заслуживает той пренебрежительной оценки, которую в эпоху повального оголтелого воинственного атеизма дал ему А. Озеров в предисловии к 31-у тому:

В этом томе публикуется переведённая Толстым с английского языка индийская сказка “Карма,” привлекающая внимание писателя тем, что в ней хорошо разъясняется та истина, “что избавление от зла и приобретение блага добывается только своим усилием.” Но в сущности эта наивная, несколько примитивная история опровергает проповедываемую сказкой идеологию покорности и примирения. Она хорошо показывает мнимость и иллюзорность принципа, что “тот, кто делает больно другому, делает зло себе. Тот, кто помогает другому, помогает себе,” — исправление жизни с помощью добрых дел. Ибо на практике эта философия оставляет нетронутой всю систему общественных и человеческих отношений, отношение господ и рабов. Следование идеям кармы

не избавило земледельца от бедности и унижения, раба Магадуту — от задавленного и бесправного существования, а только помогло богатому и властному ювелиру умножить свои богатства. Таким образом, сама сказка убедительно говорит о том, что одни “добрые дела” не спасают человечество от “зла” (31, XIII).

“Какие глупости!” — сказал бы Толстой, доведись ему прочесть такое оригинальное истолкование “кармы.”<sup>16</sup> А автор трилогии о Льве Толстом Б. Эйхенбаум с досадой назвал бы такую “науку” дикостью и варварством. И был бы абсолютно прав. Это действительно варварство и атеистический произвол, предписанный сверху, санкционированный, принуждавший изучать произведения Толстого “в свете гениальных методологических трудов В. И. Ленина о Толстом.” Ведь нет ни одной послевоенной монографии (а их было великое множество) о Толстом, в которой бы ни цитировались обильно, приспособленные к очередной злобе дня, руководящие работы Ильича о “зеркале русской революции” (Пришлось это делать и Эйхенбауму). Несколько поколений советских литературоведов сосредоточили свои усилия на поисках глубоких внутренних противоречий мировоззрения Толстого. Так что А. Озеров тут вовсе не одинок. Он, вполне возможно по зову сердца и души, добросовестно выполнил идеологическую миссию — в нужном ракурсе осветил в преамбуле сомнительные и даже опасные произведения Толстого.

\* \* \*

Толстой дважды читал роман Достоевского “Братья Карамазовы.” Последний раз незадолго до смерти. Однако, он ничего не сказал о басне “Луковка.” Не заметил, должно быть, и сюжетного сходства с “Кармой.” Вряд ли это можно назвать случайностью.

Толстой в старости, почти на смертном одре читающий последний роман Достоевского — эта картина невольно настраивает на торжественно-символический лад, вызывает умиление. На самом деле всё было гораздо прозаичнее. Сохранилось множество высказываний позднего Толстого о Достоевском и его произведениях. Особую ценность представляют свидетельства Д. Маковицкого. Судьба Достоевского, околелитературные сплетни вокруг него, отношения с Н. Страховым, несостоявшаяся встреча Толстого с Достоевским — всё это часто мелькает на страницах “Яснополянских записок.” Много однотипных суждений Толстого о “Записках из Мёртвого дома” и “Преступлении и наказании,” его любимых произведениях Достоевского.

Большинство высказываний Толстого о Достоевском — человеке и религиозном художнике — тёплые, сочувственные. Он часто жалеет, что не встретился с ним, ставит выше Тургенева. Об этом свидетельствует запись 21 марта 1906 года:

**Л. Н.:** Достоевский не был так изящен, как Тургенев, но был серьёзный. Он много пережил, передумал. Умел устоять, чтобы не льстить толпе.

— Это мало кто может устоять, — сказал кто-то.

**Л. Н.:** Да.<sup>17</sup>

Растрогало Толстого мнение Достоевского об “Анне Карениной” (правда, не полемика с восьмой частью романа, с которой он, возможно, не был знаком).

Маковицкий свидетельствует (запись 21 сентября 1908 года):

Я сегодня продолжаю читать второй том биографии Л. Н-ча — Бирюкова. Сильно подействовала критика Достоевским “Анны Карениной.” Я говорил об ней Л. Н., он пожелал прочесть и сказал:

— Достоевский — великий человек.<sup>18</sup>

Судя по записи от 8 апреля 1905 года, Толстой иногда перечитывал запомнившиеся места из “Братьев Карамазовых,” преследуя вполне утилитарную цель — отбор текстов для просветительского “Круга чтения”:

В три четверти девятого Л. Н. вышел из кабинета в залу и прочёл вслух отрывок из “Братьев Карамазовых” — “Поединок.” Читает он как великий художник. Место, где офицер даёт пощёчину денщику, читал сильным голосом; где офицер жалеет о том, что сделал, — рыдал и глотал слёзы. Когда закончил, был очень растроган. Лицо в морщинах, усталый; сидел погружённый в размышления, молчал. Последовали замечания на прочитанное: Михаил Сергеевич <Сухотин, — В. Т.> заметил, что слишком длинно для “Круга чтения”; Николай Леонидович <Оболенский, — В. Т.> — что слог извилистый и первый рассказ фальшив; повторения: “Я виноват за всех и вся.” Были и другие замечания. Л. Н. не вмешивался, только сказал, что можно сократить...<sup>19</sup>

Похоже, что окружение Толстого привыкло к его слезам и рыданиям. Далеко не все из близких Толстому людей были поклонниками творчества Достоевского: отсюда и критические замечания по поводу прочитанного отрывка. Впрочем, Толстой большое значение мнениям других, в том числе друзей и учеников, не придавал, доверяя собственным чувствам и впечатлениям. Другое дело, что он сам плохо понимал содержание “Братьев Карамазовых,” о чём говорит прелюбопытная запись от 3 января 1909 года. Речь в ней сначала идёт о споре между Христо Досевым (болгарин, увлечённый учением Толстого) и писателем Наживиным по поводу “идеи Великого инквизитора.” Спор заинтересовал Толстого, попросившего напомнить ему содержание знаменитой “поэмы” Ивана Карамазова:

Пожалуйста, расскажите мне, какая это идея Великого инквизитора? Я её забыл; я помню, что она мне тоже не нравилась. Достоевский на стороне Великого инквизитора?

Прямого ответа Толстой не получил. Его слова прозвучали как-то сбоку от спора, в который вмешался Чертков, сказавший, “что он стоит за братьев Карамазовых; Достоевский выражает в лице Алёши положительные стороны христианства; в глазах безверника Ивана он больше критикует православие, чем отрицает христианство.”<sup>20</sup> Ясно, что Толстой очень смутно помнил как Алёшу, так и “безверника Ивана.”

В конце 1909 года Толстой выразил желание “перечесть” Достоевского.<sup>21</sup> Но тут же споткнулся о “Дневник писателя,” как видно из простодушного рассказа Маковицкого:

Я принёс Л. Н-чу в кабинет 1-III тома “Дневника писателя” Достоевского, по изъявленному желанию Л. Н. прочесть его. Л. Н. продержал один вечер и в 11 ч. сказал, что можно убрать, что не будет читать:

— Он труден.<sup>22</sup>

Тем не менее в феврале 1910 года Толстой вновь принимается за чтение

Достоевского и поручает В. Ф. Булгакову отобрать наиболее значительное. Выписки, сделанные Булгаковым, несколько разочаровали Толстого:

Булгаков по поручению Л. Н. сделал выписки мыслей из некоторых сочинений Достоевского. И сегодня <10 апреля, — В. Т.> принёс готовую тетрадь.

По этому поводу Л. Н. разговорился о Достоевском и сказал:

—Как-то Достоевского нападки на революционеров нехороши.

—Почему? — спросил Булгаков.

**Л. Н.:** Не входит в них, судит по внешним формам.<sup>23</sup>

Всё же Толстого к Достоевскому сильно влечёт. И вот 12 октября 1910 года, незадолго до ухода из Ясной Поляны он приступает к чтению “Братьев Карамазовых.” Первые впечатления от нового прочтения, похоже, не изменили мнения Толстого о “Братьях Карамазовых,” как об одном из слабейших романов Достоевского.<sup>24</sup> Это отчётливо видно из записи слов Толстого от 14 октября:

Сейчас читал Достоевского <...> Отвратителен. С художественной стороны хороши описания, но есть какая-то ирония не у места. В разговорах же героев — это сам Достоевский говорит. Ах, нехорошо! Тут семинарист и игумен, Иван Карамазов тоже, тем же языком говорят. Однако меня поразило, что он высоко ценится. Это религиозные вопросы, самые глубокие в духовной жизни — они публикой ценятся. Я строг к нему именно в том, в чём я каюсь, — в чисто художественном отношении. Но его оценили за религиозную сторону — это духовная борьба, которая сильна в Достоевском.<sup>25</sup>

Хотя Толстой и осуждает вредную старую привычку судить о литературных произведениях с эстетической точки зрения, но ничего с собой не может поделать. Судит и разбирает “Братья Карамазовы,” как художественное произведение, и находит его “отвратительным.” Недоумевает, почему так ценят этот “нехудожественный” роман, и одновременно радуется этому факту, как признаку поворота русской читающей публики к религиозным вопросам.

Чтение романа продолжается (не очень ясно дочитал ли Толстой “Братьев Карамазовых” до конца), но идёт чрезвычайно медленно, отражая двойственное отношение к нему художника и вероучителя. Маковицкий записывает 18 октября:

Я спросил Л.Н., читает ли он Достоевского, и как...

**Л. Н.:** (о “Братьях Карамазовых”). Гадко. Нехудожественно, надумано, невыдержанно... Прекрасные мысли, содержание религиозное... Странно, как он пользуется такой славой.

**Душан Петрович:** Слава Богу.

**Л. Н.:** Да, слава Богу! Видно, что религиозное содержание захватывает людей.

П. П. Николаев говорит, что человека без религии нет.<sup>26</sup>

На следующий день вновь разговор о “Братьях Карамазовых,” в котором принимает участие Софья Андреевна и Е. В. Молодцова. Последнее и итоговое суждение Толстого о “Братьях Карамазовых,” которое корректируют реплики собеседниц:

Л. Н. заговорил о Достоевском: о поучениях старца Зосимы и о Великом инквизиторе.

—Здесь очень много хорошего. Но всё это преувеличено, нет чувства меры.

**Софья Андреевна:** Жена Достоевского стенографировала, и он никогда ничего не переделывал.

**Л. Н.:** “Великий Инквизитор” — это так себе. Но поучения Зосимы, особенно его последние, записанные Алёшей, мысли, хороши.

**Молоцова:** Как начнёшь читать Достоевского, возникает протест, но потом захватывает.

**Л. Н.:** Я очень понимаю, что на него Белинский, кажется...

**Молоцова:** Я думаю, молодым не следует читать Достоевского.

**Л. Н.:** Ах, у Достоевского его странная манера, странный язык! Все лица одинаковым языком выражаются. Лица его поступают оригинально, и, в конце концов, вы привыкаете, и оригинальность становится пошлостью. Швыряет, как попало, самые серьёзные вопросы, перемешивая их с романтическими. Помоему, времена романов прошли. Описывать, “как распустила волосы...,” трактовать (любовные) отношения человеческие...

**Софья Андреевна:** Когда любовные отношения — это интересы первой важности.

**Л. Н.:** Как первой! Они 1018 важности. В народе это стоит на настоящем месте. Трудовая жизнь на первом месте.<sup>27</sup>

Симптоматично, что, который раз начав разговор о Достоевском с высокой ноты, Толстой затем переходит к критике и, постепенно раздражаясь, отвергает почти всё написанное этим “странным” писателем. Мнения других только подливают масло в огонь. И уж совсем разговор перерождается в семейную сцену, когда со своим мнением выступает Софья Андреевна. Так и этот разговор, начатый Толстым явно с целью выделить хорошее в “Братьях Карамазовых,” вылился совсем в другое, перерос в супружескую перебранку.

Сегодняшний читатель, видимо, с недоумением воспринимает резкие слова Толстого о Достоевском-художнике и “Братьях Карамазовых.” Но ничего здесь удивительного нет. Художественные принципы Толстого были во многом прямо противоположны тем, которым следовал (и которые многократно декларировал) Достоевский. Так же следует учитывать, что суждения позднего Толстого о литературе отличались необыкновенной резкостью и нетерпимостью, особенно когда он высказывался о гениальных художниках (Данте, Шекспир, Гёте) и “модернистах.”<sup>28</sup> Это не отменяет несомненного и сильного влечения позднего Толстого к Достоевскому, острого желания разобраться в причинах колоссального успеха этого писателя в публике.<sup>29</sup>

Но Толстой нередко восхищался религиозно-этическими воззрениями Достоевского, которые он старался приспособить для собственных просветительских целей. Многие Толстой отбрасывает и бракует, другое сокращает и перерабатывает, несколько не стесняясь нарушением авторской воли, полагая, что тот, кто намерен открыть глаза людям, указать дорогу к чистой и трудовой жизни, не должен стесняться себя столь мелочными и утилитарными соображениями. “Великий инквизитор” для просветительских целей не годится: и сложно, и темно. А вот многие поучения и рассказы Зосимы — единственное, что показалось Толстому важным и значительным — он с удовольствием включил в круг нужных человечеству мыслей.

Понравились, в частности, Толстому слова Зосимы о тесной взаимосвязи

происходящего в мире:

...всё как океан, всё течёт и соприкасается, в одном месте тронешь — в другом конце мира отдаётся (14, 290).

Понравились потому, что образно, ясно и просто объясняли то, о чём он сам многократно писал и говорил. В статье “Путь жизни” Толстой писал:

Римский мудрец Сенека говорил, что всё, что мы видим, всё живое, всё это — одно тело... Мы, как камни, сложены в такой свод, что все сейчас же погибнем, если не будем поддерживать друг друга (45, 79).

Идеями единства и общности буквально пронизано всё творчество Толстого (особенно позднего). Он противник разделения науки и искусства.<sup>30</sup> Вообще все виды человеческой деятельности поверяются Толстым самым главным и важным критерием сопряжения, единения в добре и трудовой жизни:

Дело наше здесь только в том, чтобы делать, как должно, то, что потребуется, т.е. любовно. Вроде того, что запрягать — делать всё то, что соединяет людей, а сделать что-нибудь, **совершить** нам не дано, потому что жизнь наша не есть что-либо цельное, законченное, а есть часть чего-то несоизмеримо огромного, есть конечная частица бесконечного. Дело всё только, чтобы часть прилаживалась как должно к целому (51, 19–20).

Бесконечное, по убеждению Толстого, не освобождает от нравственной ответственности. Напротив, лишь подчёркивает значение любого поступка человека в недолгий срок пребывания в земной юдоли. Он обязан соотносить свои “конечные” поступки с этим бесконечным, “несоизмеримо большим.”

Огромное значение придавал Толстой просветительской, гуманистической силе искусства. С точки зрения Толстого, ригористической и морализаторской, право на существование имеет только искусство нравственное, которое учит жить праведно, в согласии с общечеловеческими законами добра и справедливости, искусство, способствующее главной цели жизни. А она должна быть “общая или духовная. Единение” (49, 130). Необходимо лишь искусство, способствующее единению и братству людей. Антитеза “Запад-Восток” всегда была чужда создателю “Хаджи-Мурата,” поклоннику (даже ученику) Конфуция и Лао-тзе. Толстой неутомимо разъяснял:

Великие предметы искусства только потому и велики, что они доступны и понятны всем. История Иосифа, переведённая на китайский язык, трогает китайцев. История Сакиа-Муни трогает нас (30, 109).

К таким нужным и “трогающим” произведениям Толстой относил как “буддийскую сказку” “Карма,” так и рассказ о жизни Зосимы и его поучения, которые он выделил в “слабом” романе Достоевского.<sup>31</sup>

А вот басню о “луковке” Толстой не заметил. Можно предположить, что у Толстого вообще вызвала неудовольствие эта главка романа мелодраматизмом ситуаций и диалогов (“странная манера,” “странный язык”). Не почувствовал Толстой и сюжетной близости истории разбойника Кандаты и басни Грушеньки. Видимо потому, что это во многом противоположные по смыслу притчи. В “Карме” Толстого много нравоучений и проповедей, вариаций на тему, чётко обозначенную в предисловии:

благо отдельного человека только тогда истинное благо, когда оно благо общее. Разбойник Кандата не совершает никакого доброго дела. Паутинка случайна,

никоим образом не связана с предыдущей жизнью разбойника. Она — акт доброй воли Будды. Кандату испытывает достигший “блаженного состояния просветления” Будда. Испытания Кандата не выдержал: от эгоизма и заблуждения личности его не излечили даже долгие годы страданий в аду. У Толстого в “Карме” неумолимо обсуждается “себялюбие.” Здесь, так сказать, нет “луковки,” нет единичного доброго деяния, которое одно только и подчёркивается в романе Достоевского. Самая важная мысль, вытекающая из басни, это мысль о неистребимости добра, о радости, которую приносит дающему милостыня, о величии единичного доброго деяния (все “хороши,” так как каждый когда-нибудь сделал что-нибудь доброе, у каждого есть своя “луковка,” а значит, есть надежда на прощение, есть возможность попасть на “пир”). Вот что курсивом выделяется, утверждается в вещем сне Алёши Карамазова и пьяных речах Грушеньки, желающей простить всех людей (“Если бы я была Богом...”).

Достоевский, вне всякого сомнения, если бы ему пришлось переводить легенду, не только не выбросил бы из истории Кандаты слов о нетленности добрых дел, как это сделал Толстой, а со всей страстью их подчеркнул. Ведь они так явственно совпадают с его собственными убеждениями, которые в наиболее концентрированном виде выражены героем романа “Идиот” Ипполитом Терентьевым:

Единичное добро останется всегда, потому что оно есть потребность личности, живая потребность прямого влияния одной личности на другую. <...> Бросая ваше семя, бросая вашу “милостыню,” ваше доброе дело в какой бы то ни было форме, вы отдаёте часть вашей личности и принимаете в себя часть другой: вы взаимно общаетесь один к другому; ещё несколько внимания, и вы вознаграждаетесь уже знанием, самыми неожиданными открытиями <...> все ваши мысли, все брошенные вами семена, может быть уже забытые вами, воплотятся и вырастут; получивший от вас передаст другому. И почему вы знаете, какое участие вы будете иметь в будущем разрешении судеб человечества? (8, 335–336).

### 3. Рюносукэ Акутагава “Паутинка”

В легенде (притче) “Паутинка,” над которой Рюносукэ Акутагава работал весной 1918 года, склонны обнаруживать влияние романа Достоевского “Братья Карамазовы” (Акутагава прочитал его в известном переводе К. Гарнет в 1916 году). Эту гипотезу ещё в 1956 году выдвинул Озава Масао, предположивший, что “Паутинка” была инспирирована басней о луковке (факт, по мнению учёного, лишь продемонстрировавший высокое искусство Акутагава, создавшего гармонический шедевр из заурядного анекдота). Подробно обосновывал эту гипотезу в статье “Акутагава и русский роман” известный японский литературовед-компартивист К. Шимада.<sup>32</sup>

В России гипотезу превратили в аксиому, туманно и глухо ссылаясь на каких-то многочисленных японских и советских исследователей, пришедших к такому мнению. Так обстоит дело в примечаниях В. Гривина, адресованных широкому читателю:

По мнению японских литературоведов, сюжет этой новеллы восходит к басенке Грушеньки из романа Достоевского “Братья Карамазовы.”<sup>33</sup>

И в обширнейшей статье Л. И. Сараскиной “Достоевский и Акутагава.

Заметки русского читателя”:

В июле 1918-го Акутагава публикует новеллу “Паутинка,” которая, как утверждают японские и русские исследователи, является переделкой “Луковки” — замечательно глубокой сказки-притчи о борьбе добра и зла в душе человека, рассказанной в романе Достоевского Грушенькой.<sup>34</sup>

Л. А. Холодович уже осмысляет сюжетные совпадения концептуально. Аргументы повторяются те же, но с ещё большим эмоциональным нажимом:

В 1916 году впервые на японском языке появляется роман “Братья Карамазовы” <Но ведь Акутагава читал английский перевод романа, — В. Т.>, а в 1918 году Акутагава публикует новеллу “Паутинка,” которая, как отмечают японские и русские исследователи, является японским вариантом сказки Грушеньки “Луковка.” Понадобился очень короткий срок для того, чтобы писатель из многосложного содержания романа выделил этот эпизод, оценив его значение для философской концепции произведения. Развернув маленький эпизод в целую новеллу, он бережно передал мысль Достоевского о гибельности индивидуализма. Отличавшийся неистощимой творческой фантазией, Акутагава очень дорожил своей самостоятельностью, а отдаться так безоглядно во власть чужого замысла он мог лишь тогда, когда высоко ценил его издателя.<sup>35</sup>

К достаточно решительным и чрезмерно далёким выводам пришёл и В. С. Гривнин в монографии о японском писателе:

...в своём выборе он не был самостоятелен — он шёл вслед за Достоевским, используя басенку, рассказанную Алёше Грушенькой из “Братьев Карамазовых,” и переделав её в буддийскую притчу. Даже самое беглое сопоставление басенки из “Братьев Карамазовых” и “Паутинки” показывает, что Акутагава заимствовал у Достоевского не только идею, но и образную систему <...> “Паутинка” ещё одно доказательство внимательного прочтения Акутагава русской классики, глубокого её понимания.<sup>36</sup>

Е. Б. Семенюта сопоставляет “Карму” Толстого и “Паутинку” Акутагава, пожалуй, для того, чтобы сильнее подчеркнуть близость новеллы японского писателя к эпизоду романа “Братья Карамазовы”:

...близость рассказов Толстого и Акутагава мы вправе определить как типологическую близость. В основе этой типологии, в конечном счёте, лежит один источник — религиозно-буддийская идея кармы, пришедшая из мифологии. Тогда как сопоставление “Луковки” и “Паутинки” даёт основание говорить о том, что именно Достоевский дал толчок, творческий импульс Акутагава и побудил к созданию своей новеллы на основе буддийского материала. Мысль Достоевского пробуждает мысль Акутагава.<sup>37</sup>

Других мнений русских исследователей и публицистов, писавших на тему “Достоевский и Акутагава,” обнаружить не удалось. Все они представляются не только произвольными, но и ошибочными. Нет никаких оснований утверждать, что глава “Луковка” привлекла особое внимание Акутагава. Его главным образом поразила в “Братьях Карамазовых” линия Ивана и — особенно — “диалог” Ивана с чёртом. По обоснованному мнению проф. Кунимацу, именно эти эпизоды романа Достоевского отразились в исповедальных и трагических произведениях Акутагава

незадолго до самоубийства — “Диалог во тьме,” “Зубчатые колёса,” “Жизнь идиота.”<sup>38</sup>

Что же касается “Паутинки” (эту новеллу каждый японец знает ещё с детских лет), то в Японии давно уже не возводят её к басне “Луковка” (отрицает заимствование или какое-либо влияние Достоевского и проф. Кунимацу). Надо сказать, что ещё К. Шимада в упомянутой ранее работе, возводя “Паутинку” к “Луковке,” большое место уделит знакомству Акутагава с сочинениями американского ориенталиста Пола Каруса, с его книгой “The History of the Devil and the Idea of Evil, from the earliest Times to the Present Day” (Chicago. The Open Court Publ. Com. 1900) и тремя, начиная с 1895 года, изданиями “Кармы” (на английском языке), успешно распространявшимися в Японии.

Подробнейшим образом генеалогия новеллы Акутагава исследована в работе Ямагучи Сеичи “Notes on ‘Webb’ and its source.”<sup>39</sup> Ямагучи выделяет три версии “Кармы” Пола Каруса. “Карма I” — 1894 года, та, которую перевёл Лев Толстой. “Карма II” — 1895 года; эта версия была опубликована в Японии Хасегава Шотен, агентом “Open Court” Company с иллюстрациями Судзуки Квасону. Издание было воспроизведено и в следующем году.<sup>40</sup> “Карма III” — 1903 года; опубликована в Лондоне Paul Kegan, агентом “Open Court” Company; мало чем отличается от “Кармы II.”

Ямагучи резонно предположил, что Акутагава мог отталкиваться от “Кармы II” (скорее всего) или от “Кармы III,” сильно отличающихся от “Кармы I” и — соответственно “Кармы” Толстого. Знаменательно, что в поздних версиях история Кандаты выделена в особую главку “The Spider-Webb.” Акутагава прямо заимствует это название для своей новеллы.

Ямагучи, отмечая многочисленные различия между первой и последующими версиями “Кармы,” всё же полагает, что существенных сюжетных дополнений там нет. Думаю, что это не так. Одно отличие представляется чрезвычайно важным. В версии “Кармы,” которую переводит Толстой, отсутствовала мотивировка “паутинки”: нет того единственного доброго, милосердного поступка Кандаты в его грешной и кровавой жизни, память о котором сохранил лишь всезнающий Татсахата (“Карма II-III”). Именно добрым поступком Кандаты в прошлом и обусловлен жест Будды:

When Buddha, the Lord, heard the prayer of the demon suffering in Hell, he said: Kandata, did you ever perform an act of kindness? It will now return to you and help you to rise again. But you cannot be rescued unless the intense sufferings which you endure as consequences of your evil deeds have dispelled all conceit of selfhood and have purified your soul of vanity, lust, and envy.

Kandata remained silent, for he had been a cruel man, but the Tathagâta in his omniscience saw all the deeds done by the poor wretch, and he perceived that once in his life when walking through the woods he had seen a spider crawling on the ground, and he thought to himself, I will not step upon the spider, for he is a harmless creature and hurts nobody.

Buddha looked with compassion upon the tortures of Kandata, and sent down a spider on a cobweb and the spider said: “Take hold of the web and climb up.”<sup>41</sup>

В “Карме” Толстого этого мотива единственного милосердного деяния нет. В

“Луковке” Достоевского он доминирующий и главный. А в “Паутинке” Акутагава он, хотя и не второстепенный, но не главный. В “Паутинке” вообще гораздо существеннее не те или иные мотивы, а поэтическая картина мироздания, ада и рая, чего нет ни у Пола Каруса, ни у Льва Толстого, ни у Фёдора Достоевского. К тому же, заимствуя мотив у Каруса, Акутагава значительно его видоизменяет. Он устраняет диалог Будды с Кандатой, равно как и мольбу Кандаты, обращённую к Будде. О хорошем поступке Кандаты в новелле вспоминает Будда, и сам этот поступок описан динамичнее и живописнее, чем у Пола Каруса:

Как-то раз шёл он сквозь чащу леса и вдруг увидел: бежит возле самой тропинки крохотный паучок. Кандата занёс было ногу, чтобы раздавить его, но тут сказал себе: “Нет, он хоть и маленький, а, что ни говори, живая тварь. Жалко понапрасну убивать его.”

И пощадил паучка.<sup>42</sup>

Ад, о котором сказано во всех версиях “кармы” Каруса (и у Толстого), исключительно скупо, в “Паутинке” страшен и картинен. Буддийский ад с рекой Сандзу, Игольной горой и Озером крови, где “на дне ада, Кандата вместе с другими грешниками терпел лютые мучения <...> то всплывая наверх, то погружаясь в пучину.”<sup>43</sup> В жутком пространстве между Озером крови и Игольной горой вечная тьма и бесконечные мучения:

Повсюду, куда ни взгляни, царила кромешная тьма. Лишь изредка что-то смутно светилось во мраке. Это тускло поблёскивали иглы на страшной Игольной горе. Нет слов, чтобы описать весь безотрадный ужас этого зрелища. Кругом было тихо, как в могиле. Лишь иногда слышались глухие вздохи грешников.

Преступные души, низверженные после многих мук в самые глубины преисподней, не находили сил стонать и плакать.

Вот почему даже великий разбойник Кандата, захлёбываясь кровью в озере крови, лишь беззвучно корчился, как издыхающая лягушка.<sup>44</sup>

Здесь, в адской бездне, используя язык каторжников Достоевского, только одна “перемена участи”: или гонят на вершину страшной Игольной горы, или бросают оттуда в Озеро крови. Неизвестно, что хуже — кромешная тьма на самом дне ада или тускло поблёскивающие иглы на Игольной горе.

Рай, естественно, контрастирует с адом в новелле Акутагава: лотосовый пруд, где всё благоуханно и безмятежно спокойно. В первой главке в раю утро:

Весь пруд устилали лотосы жемчужной белизны, золотые сердцевины их разливали вокруг неизъяснимое сладкое благоухание.<sup>45</sup>

В третьей и последней главке в раю время близится к полудню. Кандата уже снова плюхнулся в Озеро крови, что опечалило Будду и к чему остались равнодушны лотосы:

Чашечки их жемчужно-белых цветов тихо покачивались у самых ног Будды.

И при каждом его шаге золотые сердцевины лотосов разливали вокруг неизъяснимое благоухание.<sup>46</sup>

Даже лёгкой ряби не показалось на кристальных водах Лотосоваго пруда, достигавшего преисподней. Сквозь эти воды Будда видит всё происходящее, но сами они безмятежны, только дают возможность созерцать. Да и печаль на челе Будды

длится лишь какое-то ничтожное мгновение.

Паутина в новелле Акутагава спускается к Кандате совершенно неожиданно, сюрпризом, случайно (как случайно на нём остановился взгляд Будды и случайно попал в поле зрения Будды крохотный паучок). Не обращается к Кандате новеллы паучок со словами, сохранёнными во всех версиях “Кармы” и “Карме” Толстого:

Схватись за мою паутинку и вылезай по ней из ада.

В “Паутинке” Кандата просто догадывается, что это ему откуда-то протянута спасительная нить. Он не только не просил Будду о милости, но и голос обрёл лишь проделав немалый путь по паутинке, когда уже не только “Озеро крови <...> скрылось в непроглядной тьме,” но и вершина Игольной горы оказалась “у него под ногами.” Только почувствовав, что кошмары и мучения отдаляются от него, Кандата обретает вновь дар речи:

Крепко цепляясь за паутинку, Кандата впервые за много лет вновь обрёл человеческий голос и с хохотом крикнул:

–Спасён! Спасён!.<sup>47</sup>

Ничего подобного в “Карме” Каруса нет. Акутагава не только растягивает сюжет легенды, продлевая путешествие Кандаты (в новелле оно длится долго, с “передышкой,” что естественно, так как “от преисподней до райской обители много десятков тысяч ри”), но и в большом количестве вводит новые детали и штрихи. Кандата лезет вверх легко и непринуждённо, с явным удовольствием. Тут ощутим “профессиональный” навык:

Само собой, для опытного вора это было делом привычным.

Он потрясён зрелищем ползущих за ним по паутинке “как шеренга муравьёв” грешников. И Акутагава живописует его изумление:

От испуга и удивления некоторое время только и мог вращать глазами, по-дурацки широко разинув рот.<sup>48</sup>

Во всех трёх версиях “Кармы” и переводе Толстого перепугавшийся Кандата кричит одни и те же роковые слова:

Пустите паутинку, она моя.

В новелле Акутагава Кандата куда более красноречив:

И Кандата завопил во весь голос:

–Эй вы, грешники! Это моя паутинка! Кто вам позволил взбираться по ней?

А ну, живо слезайте. Слезайте вниз!

И только в “Паутинке” описывается **как** падал Кандата:

Не успел он и ахнуть, как, вертясь волчком, со свистом разрезая воздух, полетел вверх тормашками всё ниже и ниже, в самую глубь непроглядной тьмы.<sup>49</sup>

Паутина — центральный поэтический и символический образ новеллы. Это райский пайчок “подвесил прекрасную серебряную нить к зелёному, как нефрит, листу лотоса.” Затем Будда бережно берёт в свою руку “тончайшую паутинку,” опуская её конец в воду между жемчужно-белыми лотосами. Неповторимо, изыскано красивое зрелище представляет паутина, поблёскивающая в преисподней мгле, спускающаяся весточкой свободы и избавления от мук к Кандате:

Из этой пустынной мглы, с далёкого-далёкого неба, прямо к нему, поблёскивая тонким лучиком, плавно спускалась серебряная паутина, словно опасаясь, как

бы её не заметили другие грешники.<sup>50</sup>

И в финале второй главки паутинка остаётся напоминанием в аду о другой — райской жизни:

И только короткий обрывок паутинки продолжает висеть, поблёскивая, как узкий луч, в беззвёздном, безлунном небе преисподней.<sup>51</sup>

“Паутинка” — новелла с музыкальной трёхчастной композицией, с ясно очерченными образами Будды, Кандаты и других грешников, а не фрагмент буддийской притчи (пусть даже являющийся её ядром), где даже великий разбойник схематичен, а сама история насыщена нравочениями и в конце концов перетекает в проповедь. В “Паутинке” же морализаторства собственно нет, или, скажем осторожнее, оно доведено до совершеннейшего минимума.

И цели Акутагава были преимущественно эстетические, художественные. Миниатюрная “Паутинка” потребовала от Акутагава немалых творческих усилий. Создавалась она параллельно с “Муками ада.” Оба произведения знаменитые шедевры писателя. Но как следует из письма Акутагава от 16 мая 1918 года Масадзиро Кодзима, сам он в смущении, недоволен:

“Муки ада” получаются какими-то напыщенными, поэтому я пишу, не испытывая внутреннего удовлетворения. Раскрывая каждый день газету, я думаю: по замыслу вещь должна была получиться гораздо интереснее. “Паутинка” не получилась. Много мест нужно было отработать. Но я не в силах сделать это. Попроси Судзуки-сана, чтобы он безжалостно чёркал всё, что ему не понравится.<sup>52</sup>

Неудовлетворённость писателя своим трудом вещь обычная. И чем гениальнее писатель, тем реже он бывает доволен своими произведениями: Толстой и Достоевский (особенно) нередко испытывали это чувство. Так и это письмо Акутагава позволяет понять кропотливый труд писателя, тщательно отделяющего все детали “Паутинки” и “Мук ада.” Поздний Толстой, возможно, сказал бы, что в “Паутинке” слишком много искусства, мешающего этико-религиозной проповеди.<sup>53</sup> Но Акутагава искусством как раз больше всего и дорожил здесь. В письме к Масадзиро Кодзима от 22 декабря 1919 года он гораздо доброжелательнее отзывается о “Паутинке”:

“Чудеса магии” не так поэтичны, как “Паутинка,” поэтому, естественно, страдают отсутствием гармонии.<sup>54</sup>

В “Паутинке” Акутагава стремился к “поэтичности” и “гармонии,” и, безусловно, достиг их, воспользовавшись сочинением Пола Каруса, как материалом, который радикально переработал художественно.

“Карму” Толстого Акутагава, очевидно, не читал, а басню о “луковке” просто не заметил. Сюжетная близость “Паутинки” к главе “Луковка” лишь оттеняет глубокое внутреннее отличие. Л. И. Сараскина, увлечённая внешним сходством,<sup>55</sup> приходит к очень далёким и важным выводам:

Погибающий человек вдруг чудом получает шанс на спасение, и спасение это, якобы идущее свыше, на самом деле (в буквальном смысле) в руках самого человека. Но отравленная эгоизмом человеческая натура не может превозмочь закона собственного “я,” не может — даже себе во вред — победить демона индивидуализма. Когда речь идёт о жизни или смерти, о вечном

спасении или вечных мучениях, невозможно притвориться добрым, хотя добрым быть и выгодно; и человек, не умея и не желая преодолеть себя, ценой жизни и спасения утверждает своё эгоистическое “я.” Труднее всего, оказывается, победить, превозмочь самого себя: как старуха, так и разбойник роняют спасительные нити помощи и низвергаются в пучину ада.<sup>56</sup>

Поразительно, но все эти испещрённые “советскими” и “романтическими” штампами рассуждения (“якобы,” “демон индивидуализма,” “спасительные нити помощи”) идут мимо основной художественной мысли басни о “луковке” и поэтико-гармоничной структуры новеллы Акутагава. Они с некоторым основанием могут быть отнесены ко всем трём версиям “Кармы” П. Каруса и к свободному переводу Толстого (и ещё больше к его предисловию), о существовании которых, похоже, автор даже не подозревает.

Скажем ещё раз, но с большим акцентом: о заимствовании у Достоевского, бережной передачи его мысли, тем более переделке в “Паутинке” Акутагава не может быть и речи. Скорее наоборот: “Паутинка” может послужить хорошим поводом для рассуждений о полярности эстетических принципов Достоевского и Акутагава. “Карма” Толстого, басенка о “луковке” и связанные с нею мотивы в романе “Братья Карамазовы,” “Паутинка” Акутагава самым убедительным образом демонстрирует не близость, а различие художественных систем (отчасти и этико-религиозных воззрений) Достоевского, Толстого, Акутагава. Из этого, впрочем, вовсе не следует делать выводы об искусственности и произвольности компаративистских исследований “Толстой и Акутагава” или “Достоевский и Акутагава.” Несомненно, что когда исследуется восприятие и отражение идей и образов Гоголя, Достоевского, Толстого, Чехова в творчестве такого в высшей степени своеобразного и щепетильного художника, каким был Акутагава, нужно быть очень осторожным, не соблазняться внешним сходством (оно часто обманчиво и случайно) и — тем более — рассуждать о прямых заимствованиях: такое возможно только в ранних этюдах начинающих писателей, пробующих “перо.”

\* \* \*

Часто в работах русских (и не только) исследователей цитируют строки из предисловия Акутагава к первому сборнику (несостоявшемуся) новелл на русском языке:

Среди всей современной иностранной литературы нет такой, которая оказала бы на японских писателей и даже на японские читательские слои такое влияние, как русская. Даже молодёжь, не знакомая с японской классикой знает произведения Толстого, Достоевского, Тургенева, Чехова.

Там же он писал, как о самоочевидном, о том, что “современная японская литература испытала на себе огромное влияние современной русской литературы.”<sup>57</sup>

И подчёркивал, что это предисловие “написал японец, который считает вашу Наташу и Соню нашими сёстрами.”<sup>58</sup>

Предисловие яркое и красноречивое, и, заметим, плеяду русских писателей (в ней почему-то пропущен Гоголь) возглавляет Лев Толстой, что, конечно, не случайно: он необыкновенно много значил для Акутагава (не только как писатель). Гораздо

чаще и больше, однако, пишут о влиянии Достоевского на творчество японского писателя (и в России и в Японии). С особенным нажимом об этом рассуждает опять-таки Л. И. Сараскина:

Возможно ли, учитывая столь обширную начитанность Акутагава-студента, говорить о преимущественном воздействии на его духовное формирование и развитие именно творчества Достоевского? И если возможно, то доказуемо ли подобное утверждение? Думается, что да: и возможно и доказуемо. Но увидеть бесспорные, несомненные следы такого воздействия удаётся лишь у писателя Акутагавы, ибо творчество его как бы ориентировано по звёздам Достоевского и несёт печать его духа.<sup>59</sup>

Сказано кудряво и с большим напором, но согласиться с таким чересчур максималистскими выводами, опережающими анализ, трудно. А анализ не убеждает, часто рассыпается при очной ставке с реальными и действительно несомненными фактами. Бесспорное воздействие Толстого на Акутагава, обнаруживаемое в “Паутинке,” оказывается несущественным. Столь же произвольно сопоставление в статье Сараскиной новеллы “Ворота Расёмон” и романа “Преступление и наказание”; вывод же просто ложен:

Сон Раскольников под пером Акутагавы как бы превращается в явь. Акутагава, перенесший действие новеллы в далёкое прошлое, учился у Достоевского понимать настоящее и думать о будущем.<sup>60</sup>

Думаю, что нечто от Достоевского можно увидеть в фильме “Расёмон” Акира Куросава, находившегося тогда под сильным воздействием Достоевского (киноверсия “Идиота,” “Красная борода”), но не в новелле Акутагава. Это уже наше современное переосмысление-прочтение, инспирированное гениальным фильмом японского режиссёра.

Гораздо более обоснованными представляются статьи проф. Кунимацу, в которых речь идёт о поздних трагических произведениях Акутагава (судорожные исповеди, разбитые на фрагменты и диалоги, человека, которого преследует, мучает злой демон “конца века”). Здесь есть несомненное психологическое и эстетическое соответствие со страдальческими и болезненными исповедями бунтарей и скитальцев Достоевского. Но и здесь Достоевский находится в длинном ряду тех художников, которые, в глазах Акутагава, олицетворяли “конец века.” “Перед ним стояли не столько книги, сколько сам ‘конец века.’ Ницше, Верлен, братья Гонкуры, Достоевский, Гауптман, Флобер...” (и ещё один, родственный ряд — “Мопассан, Бодлер, Стриндберг, Ибсен, Шоу, Толстой...”)<sup>61</sup> — знаменитое начало “Жизни идиота,” этой отчаянной попытки Акутагава написать автобиографию, свою лаконичную “Поэзию и правду.” Но уже заглавие своеобразнейшей исповеди Акутагава говорит о предельной удалённости “Жизни идиота” от монументальной, эпической, обстоятельной и спокойной книги Гёте. Она ближе к “Исповеди глупца” Стриндберга, “Запискам из подполья” и исповеди Ипполита Терентьева в “Идиоте” Достоевского, “Запискам сумашедшего” Толстого.

Это признание человека, утратившего почву и самую возможность верить, раздвоенного и “многосоставного”:

Злой демон “конца века” действительно им овладел. Он почувствовал зависть к людям средневековья, которые полагались на бога. Но верить в бога, верить

в любовь бога он был совершенно не в состоянии.<sup>62</sup>

Более того; он безнадежно болен, близок к безумию, о котором ему напоминает всё, в том числе и бюст Гоголя (“любимого писателя его друга”):

Он вспомнил, что Гоголь тоже умер безумным, и неотвратимо почувствовал какую-то силу, которая его поработает.<sup>63</sup>

Ещё один русский писатель в “Жизни идиота,” но из “середины века.” Разные русские мотивы в конце концов синтезируются в чрезвычайно любопытном “идейном стихотворении”:

Из окна вольтеровского дома я смотрел на высокую гору. На вершине горы, покрытой ледником, не видно было даже ястреба. Но какой-то невысокий русский упрямо поднимался по горной дороге.

Когда и в вольтеровском доме наступила ночь, он сел у высокой лампы и написал такое идейное стихотворение. Вспоминая фигуру русского, поднимающегося по горной дороге...

Больше всех соблюдавший заповеди—  
Больше всех нарушил заповеди ты же.  
Больше всех любивший народ—  
Больше всех презрел народ ты же.  
Больше всех пламеневший идеалом—  
Больше всех знал действительность ты же.  
Ты — благоухающий травами электролокомотив,  
Порождённый нашим Востоком<sup>64</sup>

“Идейное стихотворение” (в восточном стиле), должно быть, выразило сложное, амбивалентное отношение Акутагава к России XX века. А в собирательном и символическом образе русского, упрямо поднимающегося по горной тропе, есть нечто и от самого знаменитого и великого, по мнению Акутагава, русского человека — Льва Толстого. Возможно, этот образ перекликается с другим из эссе “Введение”:

Я вижу во сне Толстого. Вижу Толстого, который оступился и упал. Я стою, Толстой лежит. Наверно нужно пожалеть его. Толстой! Я смеюсь над Толстым. Но что я вижу — ползущий Толстой движется быстрее меня, идущего. Я мчусь, Толстой ползёт. И все равно угнаться за Толстым я не в силах. Толстой скрылся на край света. Толстой! Великая гусеница!<sup>65</sup>

Сложным образом переплелись “достоевские” и “толстовские” страницы в “Зубчатых колёсах.” По ошибке брошюровщика глава романа Достоевского “Братья Карамазовы” (“Черт. Кошмар Ивана Фёдоровича”) вторглась в текст “Преступления и наказания,” и тем самым стала звеном случайных и мистических совпадений, преследующих полубезумца:

В ошибке брошюровщика и в том, что я открыл именно эти ввёрстаные по ошибке страницы, я увидел перст судьбы и волей-неволей стал их читать. Но не прочитал и одной страницы, как почувствовал, что дрожу всем телом. Это была глава об Иване, которого мучит чёрт... Ивана, Стриндберга, Мопассана или меня самого в этой комнате...<sup>66</sup>

Бесконечна цепочка жутких и странных совпадений в “Зубчатых колёсах”: какой-то иррациональный ужас, насмешка дьявола. За рассказом владельца парикмахерской о приведении в макинтоше следует появление реального человека в макин-

тоше в зале ожидания на железнодорожной станции, который затем появляется в трамвае и садится напротив автора-рассказчика (тому нестерпимо захотелось ему рассказать о приведении). И далее в холле гостиницы невольно бросается в глаза кем-то небрежно брошенный на спинку дивана, совершенно неуместный в холодное время макинтош. Трагический финал этих совпадений — звонок сестры, сообщившей, что её муж, одетый в макинтош, бросился под колёса поезда. Эпилог — рассказчику мерещится в мужчине на велосипеде двойник только что погибшего мужа сестры; он бежит от этого кошмара на тропинку, где видит полуразложившегося кота — mole (из телефонного бормотания, влекущий звуковую ассоциацию — la mort). Шведа, страдающего манией преследования, живущего по соседству, понятно, звали Стриндбергом.

О смерти, безумии, самоубийстве, пожарах, крысах, говорит всё, в том числе и книги:

В каждой книге, в тексте или иллюстрациях, были скрыты иглы.<sup>67</sup>

Даже в “Греческой мифологии” безумного жёлтого цвета: случайно открытая страница подбрасывает сокрушительные строки:

Даже Зевс, самый великий из богов, не может сравниться с духами мщения...<sup>68</sup>

А первая попавшаяся книга в книжном магазине открылась собранием рисунков душевнобольных:

...в этой книге на иллюстрациях были всё те же, ничем не отличающиеся от нас, людей, зубчатые колёса с носом и глазами.<sup>69</sup>

Литература не укрепляет и ободряет, а угнетает, давит, сводит с ума. Спасение (временное) от литературных и реальных кошмаров автобиографический герой находит в труде. Работа над ироничной и мизантропической антиутопией-притчей “В стране водяных” неожиданно стремительно продвигается:

С мужеством отчаяния я <...> как обезумевший схватил перо. Две страницы, пять, семь, десять... рукопись росла на глазах. Я населил мир моего рассказа сверхъестественными животными. Больше того, в одном из животных я нарисовал самого себя.<sup>70</sup>

Поместил в этом свиштианском мире (ощутима и близость к “Острову пингвинов” А. Франса) и бюст Льва Толстого, третьего святого “религии жизни,” которого так представляет унылый и согбенный настоятель:

Этот святой изводит себя больше всех. Дело в том, что по происхождению он был аристократом и терпеть не мог выставлять свои страдания перед любопытствующей толпой. Этот святой всё силился поверить в Христа, в которого поверить, конечно, невозможно. А ведь ему случалось даже публично объявлять, что он верит. И вот на склоне лет ему стало невмочь быть трагическим лжецом. Известно, ведь, что и этот святой испытывал иногда ужас перед переключением на потолке своего кабинета. Но самоубийцей он так и не стал — это видно хотя бы из того, что его седлали святым.<sup>71</sup>

Трагическая ирония чувствуется в этих словах, как, впрочем, и во всей “религиозной” главе повести, завершающейся зловещим образом храма-спрута, который “по-прежнему, словно бесчисленными пальцами, тянулся в туманное небо высокими башнями и круглыми куполами. И от него веяло жутью, какую испытываешь при виде миражей в пустыне...”<sup>72</sup>

Толстой, подумывавший о самоубийстве (“В стране водяных”), перекликается с Толстым, автором “Поликушки,” которую, как и главу о кошмаре Ивана Фёдоровича, злой рок подсунил герою-повествователю “Зубчатых колёс”:

Я постарался прогнать видение и хотел было опять взяться за перо. Но перо моё не могло вывести как следует ни одной строки. В конце концов я встал из-за стола, бросился на постель и стал читать “Поликушку” Толстого. У героя этой повести сложный характер, в котором переплетены тщеславие, болезненные наклонности и честолюбие. И трагикомедия его жизни, если её только слегка подправить, — это карикатура на мою жизнь. И оттого, что я чувствовал в его трагикомедии холодную усмешку судьбы, мне становилось жутко. Не прошло и часа, как я вскочил с постели и швырнул книгу в угол полутёмной комнаты.

—Будь ты проклята.<sup>73</sup>

Линии Достоевского и Толстого сливаются в некое самоубийственно-сумасшедшем синтезе в больном воображении героя “Зубчатых колёс.” Произведение, в котором вполне справедливо обнаруживают характерные для творчества Достоевского мотивы, пожалуй, не в меньшей степени созвучно мучительным страницам “Поликушки,” “Анны Карениной,” “Записок сумасшедшего.” Вообще, кажется, тема “Достоевский и Акутагава” в последние десятилетия сильно потеснила другие русские литературные параллели и соответствия. Гоголь, Чехов и Толстой для Акутагава значили несколько не меньше Достоевского. Толстой особенно. Он, как художник, в глазах Акутагава, стоял на недостижимой высоте. Во всяком случае именно “Война и мир” открывает список русских шедевров в письме Акутагава (от 3 декабря 1915 года) Кё Цунато:

Сейчас я читаю “Войну и мир.” Это огромное произведение, и потому охватить его в целом я ещё не смог. Но та часть, которую я прочёл (хотя она и достаточно велика), захватила меня настолько, насколько может захватить часть произведения. Из персонажей я особенно полюбил князя Андрея. Прекрасно выписаны и отец и сестра Андрея. Андрей возвращается, когда уже считают его погибшим, и в момент возвращения умирает от родов его жена... Это место поистине прекрасно. Также прекрасно место, где Андрей, сражённый под Аустерлицем, смотрит на небо. Но первое всё же лучше. Я не могу представить себе, что был человек, написавший подобное. В Японии такое не под силу даже Нацумэ.

Можно ли не впасть в пессимизм оттого, что у русских писателей раньше, чем в Японии, появилось такое произведение, как “Война и мир”? Да и не одна “Война и мир.” Будь то “Братья Карамазовы,” будь то “Преступление и наказание,” будь то, наконец, “Анна Каренина” — я был бы потрясён, если бы хоть одно из них появилось в Японии.<sup>74</sup>

Характерно и такое рассуждение Акутагава в эссе “Об искусстве и прочем”: Когда удастся проникнуть в произведение великого художника, мы, часто поверженные его великой мощью, забываем о существовании других писателей. Подобно тому, как людям, долго смотревшим на солнце, стоит лишь только отвести от него взгляд — и всё кругом кажется тёмным. Впервые прочитав “Войну и мир,” я стал презрительно относиться ко всем другим

русским писателям. Это была ошибка. Мы должны знать, что кроме солнца существуют луна и звёзды.<sup>75</sup>

Слова о Толстом-солнце восходят к литературному письму Мосаку Сасаки от 31 июля 1919 года:

Говорить о себе — непозволительная роскошь, но если бы я отважился на неё, то сказал бы, что убеждён: в своё время (года в двадцать три), духовно восприняв революцию, я смог впервые увидеть во всём величии таких гигантов, как Гёте и Толстой <...> Глядя на себя с позиций сегодняшнего дня, я вижу себя человеком, впервые обратившим взор солнцу, изведавшим яркое солнечное сияние, но оставшимся в неведении, что на небе существуют и другие яркие звёзды <...> Но, не изведав яркого солнечного сияния, невозможно увидеть и другие звёзды, даже яркие. Без меня тогдашнего не было бы и меня сегодняшнего. В то же время я не могу не сочувствовать множеству молодых смельчаков, которые, подобно мне, в те годы, рассуждая о Толстом и Достоевском, о других даже вспоминать не хотят. Поэтому, говоря о литературе, я всегда стремлюсь, подняв указательный палец над головой, напомнить: вначале познайте солнечное сияние. Кое-кто, глядя на мой поднятый палец, поймёт, что должен обратить взор солнцу, но, с другой стороны, я опасаясь, не высмеет ли он чуть мерцающие на небосклоне мои произведения. Если это произойдёт, я, покорно склонив голову, отвечу: моё назначение — в меру своих скромных сил стараться зажигать крохотные огоньки, и я не собираюсь заниматься клеветой на солнечное сияние.<sup>76</sup>

Письмо — литературный манифест Акутагава, в котором он определяет, что для него значили некогда произведения великих людей (Данте, Гёте, Достоевский, Толстой), которые и позднее вдохновляли его, уже опытного писателя, создателя “Ворот Расёмон,” “Мук ада,” “Паутинки”:

Я и сейчас вечерами, глядя на тома их произведений, испытываю чувство, будто они незримыми призраками витают в моём кабинете. Именно в такие минуты у меня появляется отвага жить. Эти призраки не несут в себе тень печали. Наоборот, на их лицах светятся улыбки, и я вижу их. Они всё ещё живы и ведут тяжёлое сражение, чтобы защитить меня. Они подвигают на творчество. И это воодушевляет. Но когда это воодушевление покидает или готово покинуть меня, то в целом столетье (речь идёт, разумеется, о творчестве, а не о реальной жизни) я не в состоянии выбрать себе попутчика. Я растерянно замираю в окружении этих людей.<sup>77</sup>

Так обстояли дела в середине 1919 года. В “Зубчатых колёсах” (1927) произведения “великих” уже не воодушевляют и “не подвигают на творчество.” Не появляется и “отвага жить.” Литературные светила не греют. Они сжигают. С бешеной скоростью вращаются “зубчатые колёса.” Нестерпимые адские мучения терзают писателя: они гораздо страшнее описанных Акутагава в новелле “Паутинка,” над которыми он так посмеивался в миниатюре “Ад” (“Слова пигмея”):

Жизнь — нечто ещё более адское, чем сам ад.<sup>78</sup> <...> Мне кажется, попав в ад, я смогу улучшить момент и стащить еду в мире голодных духов. А уж если проживу два-три годика на игольчатой горе или в море крови и пообвыкну, то совсем уж не буду испытывать особых мук, шагая по иглам, плывя в

крови.<sup>79</sup>

\* \* \*

В “Зубчатых колёсах” есть одно знаменательное признание: Быстро поддаваться влиянию — одна из моих слабостей.<sup>80</sup>

Действительно, произведения и письма Акутагава содержат множество отсылок к самым различным литературным авторитетам: японским, китайским, европейским. Среди наиболее устойчивых — Мериме, Бодлер, Верлен, Франс, Роллан, Гёте, Ницше, Данте, Шекспир, Свифт, Ибсен, Стриндберг, Гоголь, Достоевский, Чехов, Толстой.

В творчестве Акутагава преломились многие великие традиции и стили — западноевропейские, русские, китайские. Очень сложным, иногда причудливым образом преломились. Преклоняясь перед великими, открытыми глазами глядя на слепящие светила, Акутагава всегда оставался самим собой. Зажигал свои огоньки. “Сколько не старайся, всё равно не удастся чудесным образом перенестись из Уситомэ в Ясную Поляну,” — писал Акутагава 29 декабря 1919 года Мосаку Сасаки. Там же он советовал коллеге:

Пусть Кадзуо Хироцу делает вид, что его до слёз трогает вид нижнего белья Толстого. Нужно ли тебе знать, что Сэйити Нарусэ готов служить швейцаром у Роллана? То, что Ёсиро Нагаё скупает обувь Достоевского, — это его личное дело. Ты, Мосаку Сасаки, должен оставаться Мосаку Сасаки.<sup>81</sup>

Это кредо Акутагава, который однако находил совершенно естественным для писателя обращаться к любым источникам — отечественным и иностранным:

Да и кто оригинален? То, что написали таланты всех времён, имеет свои прототипы всюду. Я тоже нередко крал (“Диалог во тьме”).<sup>82</sup>

“Крал,” разумеется, сказано с вызовом. “Паутинка” и многие другие новеллы Акутагава, источники которых известны, хорошо демонстрируют, каким было это “воровство.”

Акутагава гораздо острее своих современников одновременно чувствовал свою причастность к европейской культуре и уединённое, особое положение японца в культурном мире “рыжеволосых.” Трогательно обращение Акутагава к будущим русским читателям:

Мы, современные японцы, благодаря произведениям великих русских реалистов в общих чертах смогли понять Россию. Постарайтесь и вы, русские, понять нас, японцев (Мы, японцы, чувствуем себя в мире совершенно одинокими в сфере искусства, исключая изобразительное и прикладное).<sup>83</sup>

В литературной исповеди (“Литературное, слишком литературное”) название которой навеяно известными словами Ницше, Акутагава писал:

Японцы — мастера подражать. И я не собираюсь отрицать, что и мои произведения — подражание произведениям рыжеволосых. Но и они — мастера подражать.<sup>84</sup>

Далее же присовокуплял с горечью отверженного человека, изгнанного из “белого” рая: Однако мы в чём-то понимаем рыжеволосых лучше, чем они нас. (Возможно, в этом есть для нас что-то позорное). Они не обращают на нас ни малейшего

внимания. Мы для них люди нецивилизованные.<sup>85</sup>

Литературная исповедь написана Акутагава в 1927 году. С тех пор очень многое изменилось. Иным стало место и положение Японии в современном мире. Сегодня не только русские, но и вообще все “рыжеволосые” гораздо лучше понимают и знают японцев, чем в те далёкие и такие необыкновенно литературные 1920-е годы. Лучше знают и японскую литературу (старую и новую): присуждение Нобелевской премии Кэндзабуро Оэ в 1994 году самое свежее и яркое тому свидетельство. Что же касается произведений Рюносукэ Акутагава, то они давно вошли в сокровищницу мировой литературы и, может быть, особенно любимы в России, великие писатели которой так вдохновляли его. Акутагава — очень японский художник. И в то же время, бесспорно, близкий и понятный “рыжеволосым,” что естественно. Ведь как писал Акутагава:

В своей сущности они <европейцы, — В. Т.> тоже не отличаются от нас. Мы (и они тоже) все вместе и есть те самые люди и звери, которые оказались в ковчеге, именуемом миром. Чрево ковчега лишено света. А на то помещение, где находятся японцы, ещё и часто обрушиваются землетрясения.<sup>86</sup>

## Примечания

- 1 Ф. М. Достоевский, *Полное собрание сочинений в 30-ти томах*, т.14 (Л., 1971–1989), стр.308. В дальнейшем все цитаты даются в тексте по этому изданию с указанием в скобках тома и страницы.
- 2 Ракитин, во всяком случае, ни о какой “луковке” ранее от Грушеньки не слышал, что ясно из его недоумённой и раздражённой реплики: “Только вот что, Ракитка, я хоть и злая, а всё-таки я луковку подала.  
—Каку таку луковку? Фу, чёрт, да и впрямь помешались!” (14, 318).
- 3 В канонический текст романа не была перенесена и одна деталь, видимо, показавшаяся чрезмерной и натуралистической: “Улыбка восторга на **распухшем** от слёз лице её” (15, 265). Грушенька, действительно, пребывает в восторге, рассказывая басню, но этот восторг всё же не переходит в поток слёз.
- 4 Вяч. Вс. Иванов, “О научном ясновидении Афанасьева, сказочника и фольклориста,” *Литературная учёба*, №1 (1982), стр.158.
- 5 Л. Н. Толстой, *Юбилейное собрание сочинений в 90-та томах*, т.52 (М., 1928–1958), стр.155. В дальнейшем ссылки на это издание в тексте статьи.
- 6 A weekly journal devoted to the religious of science.
- 7 Профессор Е. А. Краснощёкова любезно выслала мне ксерокопию номера еженедельника. Все цитаты из “Кармы,” естественно, были приведены по этому номеру с указанием в скобках страницы.
- 8 Сугубо толстовская реакция на клевету; да, фарисей, но не в том, в чём находят фарисейство. Да, грешный и суетный человек, но не в том пошлом смысле, который обычно выставляют на вид. Больно, что не понимают и язвят мелочными упрёками. Не видят главного, что так его мучает — засорил душу, которую необходимо чистить для того, чтобы достичь идеала: “жить для добра, без славы людской.”  
Ещё раз серьёзно задел Толстого американский религиозно-философский

еженедельник, опубликовав статью Эванс “A nearer view of Count Leo Tolstoi,” в которой использовались недоброжелательные свидетельства гувернантки детей Толстых Анны Сейрон. Глубоко уязвлённый, Толстой писал В. Г. Черткову 15 июля 1902 года: “На днях получил ‘Open Court,’ №554, июль 1902. A nearer view of Tolstoy. Как я не обстрелян, но первое чувство было неприятное. Нет 3-х строчек без глубокой лжи и направленной враждебно. Как же отвечать на такие статьи или разоблачать тех, которые пользуются моим именем” (88, 268). Но на этот раз ответил (в том же еженедельнике) на клевету английский корреспондент и будущий биограф Толстого Эйлмер Моуд (Aylmer Maude, “The Misinterpretation of Tolstoy. In Reply to the Recent Article of Mrs. Evans,” *The Open Court*, No.557, 1902), за что Толстой поблагодарил его в письме от 11 октября 1902 года: “Прочёл вчера вашу статью в ‘Open Court’ и благодарю вас за неё” (73, 306).

- 9 Paul Carus, *Karma. Nirvana* (La Salle, Illinois: The Open Court Publishing Company, 1973). Благодарю Икуо Ониси (Университет Хоккайдо), разыскавшего эту книгу.
- 10 Эту книгу Толстому прислал Ф. Томпсон вместе с письмом от 15 февраля 1907 года.
- 11 К примеру, запись от 28 марта 1908 года: “Читал ‘The Gospel of Buddha’ (by Paul Carus). Очень хорошее изложение. Карус — американец, он свободно переводит, а немецкий перевод тяжёлый, но зато добросовестный.” — “У Толстого. 1904–1910. ‘Яснополянские записки’ Д. П. Маковицкого.” *Литературное наследство*, т.90, в 4-х книгах, Кн.3 (М., 1979), стр.41. В дальнейшем сноски сокращённые: ЯП, книга, страница.
- 12 Характерна запись от 11 августа 1907 года: “Л. Н. принёс английскую книгу Каруса с китайским текстом и английским переводом: Лао-тзе, ‘Тао-те — кинг’ (Книга о пути добродетели).”

**Л. Н.:** Вот книга! Тао есть сознание полного единства с Богом.

Л. Н. открыл и прочитал: “Когда потеряно Тао, является добродушие; когда потеряно добродушие, является справедливость; когда же потеряна справедливость, является приличие.”

— Это удивительная книга. Я теперь настолько стар, что не конфужусь. Я просто её буду переводить (с английского, французского, немецкого), хотя это будет далеко от (подлинного) текста. Я было хотел начать учиться по-китайски <...> По этой книге можно по-китайски выучиться.

Л. Н. стал показывать <...> какой знак какое слово означает. Потом опять читал (переводил) и сказал:

— Чувствуешь что-то великое (ЯП, 2, 486).

С интересом ознакомился Толстой и со статьёй “Chinese Script and Thought. Communication of Thought” (*Monist*, vol. XV, No.2, April). Вот что записал Маковицкий 11 апреля 1905 года: “— Вот, — Л. Н. показывал на стол, — получена кипа пустых книг. <...> В новой книге “Monist” статья о китайском письме, надо прочесть.

Взял книгу и довольно долго читал и показывал нам рисунки китайского письма, изображающие ухо, глаз, рот, книгу (соединение рисовальной “кисточки” и слова

“говорить”), черепаху, слона и т.д.

— У них, должно быть, вследствие такого письма своеобразный склад мышления, — сказал Л. Н.” (ЯП, 1, 242).

- 13 Толстому понравилась статья Каруса “The Ainus” (*Open Court*, vol.XIX, No.3, March). Маковицкий приводит разговор писателя с востоковедом А. М. Сухотиным: “Л. Н. <...> спросил его, знает ли он, кто такие айны. Аля знал.

**Л. Н.:** Жалко их, вымирают. Тут <...> была статья о них с картинками. Они похожи на русских, славян, и один — было его изображение — на меня. Они милые, мирные. Соприкосновение с цивилизацией, водка, столкновение с кулаками, которые у них скупают шкуры за бесценок, — у каждого дикого народа есть свои понятия о чести, — из развращают, разоряют. Какого они племени, неизвестно” (ЯП, 2, 486).

Примечательной показалась Толстому и статья Каруса “How far have we strayed from Christianity,” подписанная псевдонимом Pro Domo (*Open Court*, vol. XIX, No.593, October). Заметил Толстой, что естественно для автора “Плодов просвещения,” статью о спиритах (D. P. Abbot, “Half hours with mediums,” *Open Court*, vol.XXI, No.2, February): “...Л. Н. рассказывал, что читал в новом номере “Open Court” разоблачение фокусов медиумов. Л. Н. Рассказывал обстоятельно, подробно эти сложные, тонкие хитрости, обманы” (ЯП, 2, 365). Была в библиотеке Толстого и поэтическая притча Каруса “Нирвана.” Отметил Толстой в записной книжке и статью Каруса о Библии (“The Old Testament Scriptures. As they appear in the Light of scientific enquiry,” *The Open Court*, vol.XV, March).

- 14 ЯП, 4, 359–360. Запись 25 сентября 1910 года.

15 ЯП, 2, 201.

- 16 Именно так воспринял Толстой критику его (и Достоевского) воззрений в статье Горького. Маковицкий записал 1 февраля 1906 года: **“Софья Андреевна:** Вы не читали фельетон в ‘Новом времени’? Буренин распекал Горького за его статью о вас и Достоевском, цитируя из неё. Горький упрекает вас и Достоевского, считая, что его учение сводится к ‘смиряться,’ а ваше — к ‘совершенствуйся’.”

— Какие глупости! — иронически улыбаясь, сказал Л. Н.” (ЯП, 2, 37.).

- 17 ЯП, 2, 399. А 12 мая 1909 года, под впечатлением от чтения фрагментов из “Мёртвого дома” (смерть каторжника), Толстой “высказал мысль, что Достоевский и Гоголь не разбираются критиками, потому что это были серьёзные люди. А Тургенев, Чехов — легкомыслие, ничтожество, а их разбирают. У Тургенева нет ни одной страницы, которая равнялась бы Достоевскому: нет серьёзности” (ЯП, 3, 409).

18 ЯП, 3, 206.

19 ЯП, 1, 239–240.

20 ЯП, 3, 294.

21 ЯП, 4, 113.

22 ЯП, 4, 113–114.

- 23 ЯП, 4, 223. Далеко не единственное критическое замечание Толстого о взглядах Достоевского. 20 февраля 1909 года, назвав Достоевского в числе

- своих любимых писателей (Гюго, Герцен, Диккенс, Шиллер), он потом чуть не исключил его из списка: “У Достоевского есть путаница, у него нет свободы, он держится предания и ‘русского, исключительного.’ Он связан религией народа” (ЯП, 3, 336). И последние слова Толстого, сказанные им о Достоевском, нелицеприятны: “**Л. Н.:** Н. Н. Гусев пишет о Достоевском, возмущён им, выпи- сывает места, где он оправдывает войну, наказания, суды... какое несерьёзное отношение к самым важным вопросам! У меня было смутное сознание нехороше- го у Достоевского” (ЯП, 4, 393. Запись 23 октября 1910 года).
- 24 Когда П. А. Сергеенко назвал “Братья Карамазовы” лучшим романом Достоевс- кого, Толстой моментально возразил, отнеся его к более слабым, значительно уступающим “Преступлению и наказанию” (ЯП, 2, 460).
- 25 ЯП, 4, 381.
- 26 ЯП, 4, 385.
- 27 ЯП, 4, 388.
- 28 Толстой не только Достоевского и Шекспира, но и евангелистов не щадил, о чём говорит запись Маковицкого 22 октября 1910 года: “Л. Н. говорил, что сегодня читал часть Нагорной проповеди. Лишнего много, тяжело читать. Написано хуже Достоевского. В этих четырёх Евангелиях нашли меньше чепухи, чем в остальных, и сделали их Священным писанием. Замечательно идолопоклонство к словестному выражению (к Евангелию)” (ЯП, 4, 392).
- 29 Слова Тэна о Достоевском, как о самом замечательном писателе во всём мире, возможно, задели авторское самолюбие Толстого. Понятно, что он с этим мнением не соглашается. Суждения В. Г. Черткова о Достоевском (“чуть ли не так же высоко ценит Достоевского, как и Л. Н-ча”) он не разделял.
- 30 “Передача внутреннего содержания для единения есть самое важное и святое. В передаче важна передача доброго — признак ведущего к единению. Разде- ления на науку и искусство в действительности нет, есть два рода передачи” (50, 125).
- 31 Выделение совершенно в духе Толстого — пропагандиста, моралиста, учителя. Постепенно у Толстого родилась идея создания своего рода всемирной антологии мудрых мыслей и поучительно-поэтических историй. Книги для чтения, адресо- ванной всем. “Моё хорошее нравственное состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и главное Лаоцы. Надо себе составить Круг чтения: Эпиктет, Марк Аврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. — Это и для всех бы нужно. Это не молитва, а причащение,” — записывает Толстой 15 марта 1884 года в дневнике (49, 68). Осуществил эту идею Толстой через двадцать лет, создав настольную книгу мудрости, энциклопедию необходимых и важных мыслей, книгу, в которой сняты национальные и конфессиональные различия: братство по духу великих мыслителей Европы, Азии, Америки.
- Одновременно “Круг чтения” книга концептуальная и личная. Толстой всё существенно сокращает и перерабатывает, уверенный в том, что делает “полез- ное” дело: “Какие бы прекрасные полезные книги для большой публики составили бы все и древние и средневековые и нововременные писатели, если бы их сочинения передавались смело с теми исключениями, изменениями и даже добавлениями, которые считали бы нужными их переводчики и передаватели” (42,

472). Толстой создаёт свою энциклопедию мудрых мыслей, свою книгу поучительных историй, беря материал из тысяч источников, интегрируя мысли и образы в единую общечеловеческую “библию.” Менее всего он составитель. Учитель и просветитель, властно распоряжающийся необозримым религиозно-философским наследием человечества. В “Круге чтения” нет “чужих” мыслей и рассказов, а есть то, что переработал, сделал своим для всех Лев Толстой: “... я передавал собранные здесь мысли писателей свободно, стараясь об одном: сделать книгу как можно более доступною и полезною большинству читателей. Так что, если бы нашлись желающие переводить книгу на другие языки, то я бы советовал им не отыскивать на своём языке места подлинников англичанина Кольриджа, немца Канта, француза Руссо, а если они уж хотят переводить, то переводить с моего” (42, 473). Толстой имел немалые основания для такого предупреждения. Имена и источники в “Круге чтения” названы. Они образуют всемирную, тысячелетиями создававшуюся усилиями многих лестницу мудрости. Но по этой лестнице, шаг за шагом, на самый верх поднялся Лев Толстой, который делится опытом восхождения со всем человечеством.

- 32 *Etudes de Litteratures Comparées*, No.14(September 1968), pp. 1-39.
- 33 *Акутагава, Новеллы. Эссе. Миниатюры* (М., 1985), стр.591.
- 34 *100 лет русской культуры в Японии* (М., 1989), стр.169. Замечу, что ни в главе “Луковка,” ни в “Паутинке” нет речи о борьбе добра и зла в душе человека. Японские и русские исследователи (видимо, Шимада и Гривнин) говорили всё же главным образом о сюжетной и идейной близости, а не о “переделке.” Таковой становится “Паутинка” только в пересказе с эмоциональными комментариями “русского читателя” Л. И. Сараскиной.
- 35 Л. А. Холодович, “Достоевский и японская проза первой четверти XX века,” *Русская литература*, №2 (1975), стр.184. Здесь всё сплошная фантазия и натяжка.
- 36 В. С. Гривнин, Акутагава Рюносукэ (М., 1980), стр.131.
- 37 Е. Б. Семенюта, *Развитие японской литературы конца XIX — первой половины XX века и творчество Ф.М. Достоевского* (М., 1986), стр.10.
- 38 “Dostoevsky in Akutagawa Ryunosuke,” *Hikaku Bungaku Nenshi* (March 25 1979); “Dostoevsky in Akutagawa Ryunosuke. Part 2,” *Hikaku Bungaku Nenshi* (March 25 1981). В более поздней своей работе проф. Кунимацу сопоставляет рассказ Акутагава “В чаще” и “Братья Карамазовы”: “Akutagawa Ryunosuke and Dostoevsky: from ‘Brothers Karamazov’ to ‘In the Bush’,” Yasuyoshi Sekiguchi (ed.), *Apurochi Akutagawa Ryunosuke* (Tokyo: Meiji Shoin, 1992), pp. 191-210.
- 39 *Seijo Bungei*, No.32 (April 4, 1963).
- 40 Появление “Кармы” в Японии было отнюдь не случайным. Этому событию предшествовала международная религиозная конференция в Чикаго, на которой впервые был представлен речами и документами японский буддизм. Хорошее впечатление на слушателей произвела речь Шаку Соэн, одного из авторитетнейших дзенбуддистов Японии (Это с ним остро полемизирует Толстой в статье “Одумайтесь!”). В Чикаго завязалось знакомство Пола Каруса с Шаку Соэн. Позднее Карус прислал ему свой труд “The Gospel of Buddha,” который, как о

том уже была речь раньше, высоко ценил Толстой. Именно Шаку Соэн приказал Судзуки Дайсецу (он позднее прославился как автор знаменитого путеводителя по дзен-философии) перевести эту работу, что между прочим, положило начало его карьере. В 1897 году Судзуки Дайсецу посещает с рекомендательным письмом Соэн Шаку Америку и становится ответственным лицом в Восточном департаменте “Open Court” Company.

Автор этой работы благодарит Умэмура Хироаки (Университет Хоккайдо) за очень дельные рефераты (на английском языке) статей проф. Кунимацу и Ямагучи Сеичи.

- 41 Paul Carus, *Karma. Nirvana* (La Salle, Illinois, 1973), p.30.
- 42 Акутагава, *Новеллы. Эссе. Миниатюры* (М., 1985), стр.134.
- 43 Там же.
- 44 Там же.
- 45 Там же, стр.133.
- 46 Там же, стр.136.
- 47 Там же, стр.135.
- 48 Там же.
- 49 Там же, стр.136.
- 50 Там же, стр.134.
- 51 Там же, стр.136.
- 52 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея* (М., 1992), стр.499.
- 53 Что-нибудь в духе парадоксальной оценки “мастеровитой” сказки Н. С. Лескова “Час воли Божией”: “Сказка всё-таки очень хороша, но досадно, что она, если бы не излишек таланта, была бы лучше” (Л. Н. Толстой, *Переписка с русскими писателями*, т.2, М., 1978, стр.223).
- 54 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея*, стр.513.
- 55 “Злющая-презлющая баба (у Акутагава — страшный разбойник кандата) мучается в аду (преисподней). Ангел-хранитель (соответственно Будда) пытается припомнить хоть одну добродетель грешников, испытывающих лютые мучения в огненном озере (Озере крови). Ангел вспоминает, как старуха выдернула из огорода луковку и подала нищенке, а Будда — как разбойник однажды пожалел паучка на лесной тропинке, пощадил и не убил его понапрасну. И вот ангел протягивает луковку, а Будда же — тончайшую паутинку райского паучка, чтобы вытащить из бездны грешников.” *100 лет русской культуры в Японии*, стр.169.
- 56 Там же.
- 57 Акутагава, *Новеллы. Эссе. Миниатюры*, стр.25.
- 58 Там же, стр.26. Искренность слов Акутагава все сомнений. И всё же, видимо, следует учитывать, что это обращение именно к русскому читателю. Если бы Акутагава писал бы предисловие, адресованное английскому, французскому, немецкому или скандинавскому читателю, акценты и имена были бы другими. Постоянными любимцами, спутниками Акутагава были Шекспир, Свифт, Мериме, Бальзак, Бодлер, А. Франс, Гёте, и Гейне Стриндберг, Ибсен.
- 59 *100 лет русской культуры в Японии*, стр.155.
- 60 Там же, стр.164.

- 61 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея*, стр.372.
- 62 *Там же*, стр.390.
- 63 *Там же*.
- 64 *Там же*, стр.383.
- 65 В. С. Гривнин, *Акутагава Рюносукэ*, стр.162-163.
- 66 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея*, стр.141.
- 67 *Там же*, стр.133.
- 68 *Там же*, стр.132.
- 69 *Там же*. Реальное везде в смеси с литературным и ирреальным. Грань между ними стёрта, а перспектива одна — тьма, неотвратно надвигающееся безумие. Безысходен конец этого мрачнейшего произведения Акутагава: “Писать дальше у меня нет сил. Жить в таком душевном состоянии — невыносимая мука! Неужели не найдётся никого, кто бы потихоньку задушил меня, пока я сплю?” (стр.149).
- 70 *Там же*, стр.144.
- 71 Акутагава, *Новеллы. Эссе. Миниатюры*, стр.513.
- 72 *Там же*, стр.515.
- 73 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея*, стр.129.
- 74 *Там же*, стр.443-444.
- 75 *Там же*, стр.354.
- 76 *Там же*, стр.510-511.
- 77 *Там же*.
- 78 Этот афоризм Акутагава цитирует в *Зубчатых колёсах*.
- 79 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея*, стр.187.
- 80 *Там же*, стр.137.
- 81 *Там же*, стр.514.
- 82 *Там же*, стр.154.
- 83 Акутагава, *Новеллы. Эссе. Миниатюры*, стр.25.
- 84 Рюносукэ Акутагава, *Слова пигмея*, стр.312.
- 85 *Там же*, стр.313.
- 86 *Там же*.